

Неучето

Скорбная песнь истерзанной души



Неичето

Скорбная песнь истерзанной души

«Автор»

2025

Неичето

Скорбная песнь истерзанной души / Неичето — «Автор», 2025

Обезумевший проповедник, возомнивший себя правой рукой господи, загадочный человек в шляпе, возникший из ниоткуда, нелёгкая судьба тех, кто называл себя «Отбросами общества», бесчинства, творившиеся в стенах дома Кальви и прекрасная девушка в длинном чёрном платье, танцующая в ночи. Всё это давно осталось в прошлом. Теперь у престарелого и бесконечно одинокого Эрика Миллера остались только лишь воспоминания. Которые продолжают преследовать его. Он стремится избавиться от них, и ему это почти удаётся. Но однажды происходит нечто, что вынуждает его вновь обратиться к своему прошлому. И это приводит к самым неожиданным последствиям.

© Неичето, 2025

© Автор, 2025

Содержание

Глава 1	6
Глава 2	16
Глава 3	22
Глава 4	28
Глава 5	34
Глава 6	39
Глава 7	44
Глава 8	50
Глава 9	59
Глава 10	69
Глава 11	81
Глава 12	86
Глава 13	98
Глава 14	102
Глава 15	104
Глава 16	108
Глава 17	111
Глава 18	116
Глава 19	123
Глава 20	128
Глава 21	132
Конец ознакомительного фрагмента.	140

Неичето

Скорбная песнь истерзанной души

*Well I wonder
Do you hear me when you sleep?
I hoarsely cry.
Well I wonder
Do you see me when we pass?
I half die.
Morrissey*

*Oozora ni ukabeta omoide no naka de odoru futari wo mitsume naiteita
Saigo made sayonara sae iezu kono basho de nemuri ni ochita anata wo daiteitakute.*

Mana

*Yurenagara ashi o ukase
Yurenagara sora ni mi o yosete.*

Mana

Глава 1

Ночь – траурные одежды, в которые облачается Время, оплакивая смерть нового дня, вуаль, скрывающая уродство города и моего треклятого жилища, обращённая затем в полотно, что служит фоном для бледных, до боли знакомых фигур тех, чьи тела давно уж растворились в холодных объятьях земли.

То был апрель. Самое его начало, если точнее. Пора истинно тоскливая, от видов которой сердце сочится горькой желчью светлой печали. И почва души¹ человеческой, пропитанная той желчью, становится усеянной цветами меланхолии, что первыми пробуждаются после долгой зимы.

Мороз давно отступил, но в местах, не целованных солнцем, снег ещё лежал. Грязный и мерзкий, чёрный, убогий, он – лишнее напоминание о том, что у жизни только один финал: трагичный, бесславный, жестокий.

Благо над головой по-прежнему есть небо – отрада для глаз² – серо-голубое, чистое, безмятежное – точно туманное зеркало – в нём, смешавшись воедино, отразились чаяния и надежды всех романтиков и мечтательных страдальцев, когда-либо живших на Земле. (Может быть именно там, среди звёзд и облаков, им самое место. И романтикам, и их чаяниям и надеждам.) Обнажённые деревья – прекрасные, гордые девы, что назойливым ухаживаниям пылких юнцов предпочли участь не самую завидную. Хотя как знать, как знать... В столь отчаянном решении есть, я думаю, великая мудрость и верность себе, своим решениям. Давным-давно и мне, я думаю, стоило превратиться в дерево. Я бы превратился, если б мог, и многое бы отдал, чтобы встать с ними в один ряд, но увы и ах, как говорится...

Вот стоят эти девы, машут ветвями, словно продолжая качать головой в непреклонном отказе; кажется, будто отвернёшься на мгновение – и они тут же примут свой прежний облик да пустятся в пляс. О, как было бы чудесно! «Мир небезнадёжен», – сказал бы я тогда и со спокойной душой отошёл в мир иной. Но нет, конечно, нет. То глупость. Блажь старикашки, которому во всякой обыденности видится волшебство поэзии. Дерево есть дерево. Не более того. Однако как же грациозны сии прелестные создания! И только ветру дозволено ласкать их, только дождю дозволено горевать о них. Мы же, идущие ногами, видящие глазами, говорящие ртами, всего-навсего можем петь им нежные, грустные оды.

Я же не делаю и этого. Да и вообще всё описанное я редко видел, поскольку старался не выходить из дома. Что не слишком-то сложно. Мне ведь многого не надо: поесть да выучиться искусству танца³. Продукты привозят раз в месяц⁴, а танцами со мной раз в неделю-две занимается репетитор – молодая⁵ девушка по имени София, она сама ко мне приезжает, так что и тут нет никаких проблем⁶.

Ну а других причин покидать пределы дома у меня нет⁷. Как-то раз я позволил себе выйти на прогулку⁸ (тогда и подметил для себя все те удивительные красоты и уродства Матери-Природы⁹, которыми продолжаю любоваться, не видя их), но мне это быстро наскучило. Поначалу

¹ Хотя, что-то в этом слове, в этой категории есть, как мне кажется, неправильное.

² Именно потому я редко на него смотрю.

³ Последнее мне действительно важно и жизненно необходимо.

⁴ Я бы мог заказывать готовую еду, но тогда ещё сложнее было бы коротать бесконечные дни моей одинокой жизни.

⁵ Лет двадцати четырех.

⁶ Я нашёл её по интернету, она показалась мне наиболее подходящей кандидаткой. Всего их было с дюжину примерно.

⁷ Кроме разве что огромной к нему ненависти; но учитывая обстоятельства, это не является достаточной причиной (или хоть какой-нибудь причиной)

⁸ Такое случается время от времени, но не слишком часто. Раз в год или около того.

⁹ Которые нередко ускользают от нас, когда мы думаем, что есть на свете что-то ещё, кроме этого, и возвращаются к нам,

лишь сладкая тоска¹⁰, вызванная окружающими видами, стала нестерпимо-приторной, я утомился, приуныл и поспешил обратно¹¹.

Из самого же дома природу не особо разглядишь. Лет десять назад я замазал окна чёрной краской, а на втором этаже вовсе заколотил наглухо. Всё равно я там никогда не появляюсь. Использую как склад для хранения старых вещей, пробуждающих слишком болезненные воспоминания. Я бы избавился от них совсем, но рука ни за что не поднимется. Они дороги мне как память. К тому же, это не принесло бы мне желаемого успокоения. Напротив, я извёл бы себя бесконечными сожалениями и стенаниями. А так, точно зная, что они здесь, прямо надо мной, но при этом где-то там, куда не проникнет взгляд, я чувствую себя гораздо лучше. Да ещё и уверенность в том, что ни один бродяга из тех, что частенько появляются в этом районе, дабы погреться в одном из заброшенных домов, не попытается залезть и в мой дом через второй этаж, как раз дарит мне то самое успокоение, которое я всеми силами стремлюсь сохранить.

Все дни слились воедино. Трудно отличить один от другого. Поэтому вряд ли мне удастся вспомнить, когда именно впервые возникли фантомы – так я их называю за неимением более подходящего, точного термина. Хотя стоило бы, наверное, постараться как следует. Возможно тогда я бы смог понять причину случившегося. Безумие? Старческий маразм? Последствия изоляции и слишком длительного одиночества? Приближение смерти? Надеюсь последнее. И чем скорее, тем лучше. Ожидание без того затянулось слишком уж надолго.

В тот первый раз трудно было понять, что вообще произошло. Утро. Часов шесть. Я только проснулся. Думал позавтракать, но, открыв холодильник, осознал, что мне тошно от всего на свете, а потому я достал заначку с бурбоном, опрокинул стаканчик и хотел уже было отправиться по своим делам (предстояло ещё, правда, придумать, что это будут за дела), как вдруг перед глазами у меня возник чёрный блестящий шар, парящий в воздухе, размером с кулак. Он быстро исчез, потому я решил, что мне просто привиделось (мало ли! Всякое бывает). Но через неделю эта штука появилась вновь. На сей раз она исчезла не сразу, а превратилась в человека. В моего отца, если точнее, который умер много-много лет назад. Вернее, оно выглядело в точности, как отец. Чёрный костюм, очки, редкие растрёпанные волосы, торчащие во все стороны, жуткий лиловый шрам на шее, который мне ни за что не забыть и глаза, в коих, кроме беспросветной печали было, кажется, и абсолютное безразличие ко всему¹².

Отец заметил меня не сразу. А когда заметил, принялся вглядываться в моё лицо. Он словно видел перед собой что-то таинственное, требующее разгадки, но в то же время столь знакомое, сокрытое, быть может, туманом, дымом, чем-то подобным. И он стоял, мучил зрение и память в стремлении преодолеть, развеять тот самый туман. Я боялся пошевелиться, издать малейший звук, боялся даже дышать, боялся сказать хоть слово – пусть их и вертелось в моей голове великое множество. Страх мне внушал не столько его облик или тот факт, что он предстал передо мной, нет. Меня скорее пугала возможность как-то помешать ему, сбить с толку, нарушить его сосредоточенность, концентрацию.

Всё это длилось от силы, наверное, пару минут. Но страх и ужас и печаль меня сковавшие, оказались так жестоки – они изуродовали сие короткие мгновения, превратив их в целую вечность. Отец же тем временем, судя по всему, увидел то, что хотел увидеть. Он, точно как при жизни, когда мысленно приходил к какому-то заключению, начал кивать, заложив руки за спину и отведя (усталый) взгляд в сторону. Отец повернулся, собираясь уйти, вернуться туда, откуда он явился, и в следующий миг исчез, растворился в воздухе прямо на моих глазах. Я

когда не остаётся более ничего.

¹⁰ С лёгким оттенком горечи – такая тоска, которая пробуждает в тебе чувство (ложное, конечно) освобождения от всех оков: это как ощущение полёта перед падением.

¹¹ И больше с тех пор никуда не выходил.

¹² Такое сочетание выглядит со стороны как жуткая усталость – это именно то, что я ощущаю. Может, образ отца был на самом деле отражением моих собственных чувств и не более того?

наконец с облегчением вздохнул, твёрдо решил, что не буду больше пить по утрам и отправился в ванную принять холодный душ.

Минуло ещё несколько дней. Я, как обычно, спал на диване в гостиной. Мне снился кошмар. Нагромождение невнятных, гротескных образов, которые должны были покинуть мой разум, раствориться, как дым (то есть стать незримым, но не исчезнуть без следа). Однако, вероятно от резкого пробуждения, этого не произошло. Так что мне оставалось понемногу приходить в себя и поражаться тому, насколько беспокоен мой разум, какие ужасы таятся в отдалённых его уголках.

В реальном мире, ну или в том, который принято считать реальным, к которому все мы привыкли, меня встретила ночь. И она была не одинока. У окна, что выходило на передний двор стояла моя мать. Она что-то высматривала в том окне, словно в нетерпении ждала кого-то. Хотя сквозь мои не разглядишь вообще ничего. Мама облачилась в длинное платье кремового цвета, на шее у неё висело ожерелье из жемчуга, или чего-то, что выглядит как жемчуг, которое она без конца теребила. В таком виде я и похоронил её тридцать четыре года назад. Рядом с ней в самом тёмном углу в кресле сидел отец. Он держал маму за руку, но смотрел лишь прямо перед собой, и время от времени снимал свои очки и держа их на вытянутой руке, шурясь, проверял, нет ли на них пятнышка, скола или трещины. Затем, убедившись, что всё в порядке, надевал их обратно.

На полу, совсем рядом с диваном, по-турецки сидел Роберт. Мой старый друг, мой лучший друг. Им он был когда-то. И сейчас выглядел в точности так, как во времена нашей юности, ещё до событий, разрушивших наши жизни. На нём тёмно-серая футболка с принтом группы The Doors, бежевые шорты и красная кепка козырьком назад. Единственное, что казалось мне необычным, и от того несколько пугающим, его вдумчивость, погружённость в себя. Роберт был скорее беспечным, легкомысленным. В те годы уж точно. А тут он сидел, положив руки на колени, и немного покачивался, словно пытался сосредоточиться на каких-то мыслях, или же прогнать иные. Настоящий Роберт не стал бы так делать, и потому мне не хотелось смотреть на *это*, представшее передо мной в его облике.

Я отбросил плед, сел, протёр глаза. Взгляд мой упал на широкую арку, ведущую в кухню и обеденный стол, который я никогда не использую по назначению. За столом сидела Тори и что-то записывала на листке бумаги. В какой-то момент она оторвала взгляд от листка, стала грызть кончик карандаша или ручки, я не мог разглядеть, чем именно она пишет, и стала задумчиво смотреть в сторону (туда, где сидел я), не шевелясь, двигая лишь глазами. Потом она вновь что-то записала. И вновь оторвалась от листка и принялась думать. И так снова и снова и снова...

Я медленно встал с дивана, вокруг которого беспокойно носилась Жизель – девушка Роберта. На ней было бордовое платье чуть выше колен, в руках – букет белых георгинов, который она прижимала к груди. Жизель выглядела ошеломлённой. Мне было особенно странно видеть её. В случае всех остальных, я бы мог назвать примерную, гипотетическую, более-менее логичную причину их появления. С Жизель, однако, даже такой причины я найти не мог.

«Может они здесь парами? – рассуждал я. – И если я связан с кем-либо, то появляясь здесь, он приводит с собой того, кто дорог ему больше всего».

Стоило мне подумать об этом, как в голове тут же пронеслось:

«А вдруг и Ванесса здесь?»

– Нет, нет, нет, – бормотал я, потирая лоб, – лишь бы только не она, лишь бы только не...

Я направился в кухню, попутно отслеживая реакцию фантомов на каждое моё движение. Они были безучастны и безразличны ко всему, что происходит вокруг и что делаю я. Казалось, будто это я фантом, а не они.

Войдя в кухню, я увидел, что Тори не одна. За столом сидел также и Скартл – её парень. Как всегда угрюмый (хотя это, кажется, общая черта всех фантомов), он водил ложкой по дну

чашки, размешивая, видимо, сахар в чае. Занятно, что никакого звука при этом слышно не было.

Я сел на корточки подле Тори и стал звать её по имени. Она не откликалась и не замечала меня. И как-то совсем уж печально, горестно мне стало от этого. Я понимал, что это не она, что это лишь видения, фантомы, но они выглядели в точности как настоящие, по крайней мере, очень близко к своим оригиналам. И окружённый ими, я ещё острее ощущал своё одиночество¹³.

Я резко встал в попытке сдержать нахлынувшие чувства, этот новый прилив горя, оперся о стол, нахмурился и поджал губы. Голова закружилась, в глазах потемнело. Шатаясь и кашляя, я вышел из кухни.

По возвращении в гостиную меня посетила мысль о том, что стоит, пожалуй, проверить ванную и подвал. Вдруг там тоже завелись фантомы.

Это ж сколько людей я встречал за свою слишком долгую жизнь! И сколько их умерло – никого ведь не осталось, я последний. Неужто они все теперь здесь? Почему здесь? Почему сейчас?

Обуздав эмоции и чувства, по крайней мере временно отбросив их куда-то на задворки сознания, подобно тому, как я бросил на втором этаже (а заодно заколотил там все окна и запер дверь, ведущую на второй этаж) все вещи, что напоминали мне о днях давно минувших, людях давно ушедших, я решил начать с ванной.

Обойдя диван слева на приличном расстоянии, так, чтобы не потревожить Жизель, и сделав несколько шагов по направлению к двери, ведущей в ванную, я вдруг застыл. Держась за дверную ручку, я не мог заставить себя войти. Мне казалось, я и так точно знаю, что меня там ждёт. Я будто отчётливо видел внутреннее убранство комнаты и каждое движение того, кто там находится, глядя лишь на дверь.

Ах, двери! Они точней зеркал и окон, точней календарей, часов и солнца. В них нет ничего лишнего, ничего такого, что уносило бы разум в незримые просторы эфира, полные пьянящего очарования поэзии. Каждая царапина и трещина, каждое пятно, каждая мелкая, едва различимая деталь таит в себе элемент истории, прочесть которую, однако, способен далеко не каждый.

Но чтение может утомлять. К тому же, если стоишь перед дверью, рано или поздно наступает момент, когда нужно её открыть. И хорошо, если этот момент определяешь именно ты. Чаще всего жизнь не предоставляет такой свободы.

В ванной меня встретили два фантома. Саша и Шарлотта Регрет. Встретили как полагается: холодным безразличием, которое начинало внушать мне мысль о том, что меня здесь нет на самом деле, а они просто заняли пустующий дом. С чувством огромного сожаления и болью в сердце смотрел я на растерянного Сашу, лежащего в ванной, и опечаленную Шарлотту, сидящую рядом. Я вдруг осознал, что даже не знаю, что случилось с Шарлоттой. Или не помню? Где-то тут должна быть грань, но она стёрлась. Может это всё возраст, а может я просто очень устал. От нескончаемого горя, от пустой жизни и смерти, которая либо забыла обо мне, либо не хочет меня принимать – настолько я жалок, ничтожен, омерзителен.

На пути к подвалу я пытался ответить себе на вопрос: «Что, в сущности, хуже: не знать или не помнить?». Но мне это не удалось (надо будет позже вернуться к данному вопросу). Слишком короток был путь. Всего около пяти шагов до двери в полу у дальней стены, единственное окно которой выходит на задний двор.

¹³ И даже осознание своей вины, из которого вытекало стремление наказать себя, не позволяло мне избавиться от этого чувства. Что вообще-то хорошо, так и должно быть.

В подвале, тёмном и холодном, заполненном всяким ненужным хламом, большая часть которого осталась от прежних хозяев, коих было за все годы довольно много¹⁴, я надолго не задержался. Это помещение, которое когда-то казалось мне уютнее всех прочих комнат в доме стало пристанищем фантомов Германа, Кавиша, Бу-Бу, Демельзы Тарле, Марселя и прочих им подобных¹⁵. Увидев их, я рассвирепел от ярости, доселе дремавшей во мне, отравлявшей всё моё естество, ждущей того часа, когда я позволю ей вырваться на волю. И час тот настал. Я медленно спустился по лестнице – каждый шаг увеличивал мою ярость – схватил первое, что подвернулось под руку, кажется, это была женская туфелька, и швырнул в Германа. Я хватал прочие предметы – настольную лампу, детский стул, колонку от старого кассетного магнитофона, журналы, книги, лыжные палки, отвёртки, разводные ключи, банки краски и банки с гвоздями, куски древесины – и швырялся ими во всех фантомов. В конце концов я просто кричал, вопил и крушил всё вокруг. Получилось как-то мелодраматично, но зато мне полегчало. Я вышел из подвала и больше никогда туда не возвращался, равно как не возвращался к мысли, что там живут те, кого я презираю и ненавижу всей душой. Хотя, Бу-Бу в их компании, пожалуй, лишняя. Но с этим я ничего поделать уже не могу.

Из подвала я вышел опустошённым, обессиленным, очищенным. Я чувствовал себя умиравшим, израненным зверем и одновременно переродившимся духом, ощущал невероятную тяжесть и лёгкость в то же самое время. Голова болела, ужасно хотелось спать. Но вместо дивана я направился к бутылке бурбона. И хоть я обещал себе не пить, пока солнце не село, всё же налил в стакан немного этой гадости. Совсем чуть-чуть. Лишь так, чтобы покрывалось дно. Выпил. А потом ещё капельку. И ещё, и ещё...

Добравшись наконец до дивана, я врезался лицом в подушку и моментально погрузился во тьму, родственную той, что поглощает человека навеки с его смертью. И спим мы, люди, как раз для того, чтобы хоть немного привыкнуть к пребыванию в небытии¹⁶.

Привыкание моё в тот день (именно день) проходило весьма неплохо. Я спал так крепко, так долго и спокойно, как не спал уже очень давно. Я видел яркий, почти осязаемый сон – такой, который после пробуждения не исчезает, а напротив – остаётся в памяти навсегда, начиная вмешиваться в повседневную реальность, проявляясь мимолётными образами, разбросанными тут и там. Требуется время, чтобы отделить одно от другого. Сны столь яркие создают ощущение, будто проживаешь две жизни. Может показаться, что это довольно приятное ощущение. Но на самом деле нет в том ничего приятного. Ибо сколько ни было дано мне жизнью – кругом и всюду лишь мрак да тоска.

Стук в дверь моего дома помог, однако, определиться с тем, какая из двух (или сколько их вообще) имеющих у меня жизнью ненавистна мне более всего.

Я открыл глаза. Во рту был неприятный привкус, так что вставал с дивана я, причмокивая губами. Фантомов вокруг не наблюдалось. Ещё бы! Ведь они подобны звёздам: являются лишь когда стемнеет.

«Интересно, – подумал я, – где они пропадают днём и чем занимаются?»

Я выключил несмолкающий телевизор, что спасает меня от гнетущей тишины, включил свет, кряхтя, подошёл к двери и открыл. На пороге стояла София – учитель танцев. На ней были рваные джинсы, бледно-розовая блузка, чёрный кардиган, пальто и ботинки. Светлые волосы собраны в хвостик. Увидев меня, она улыбнулась своей дежурной широченной улыбкой.

– Здравсьте! – проговорила она, с каким-то особым упором на букву «с».

– Как? – удивился я. – Разве уже четыре часа?

¹⁴ Стоило бы его разобрать, конечно. Но мне банально лень. Да и зачем? Пускай лежит, мне он не мешает, место это мне не нужно всё равно.

¹⁵ Некоторые имена не получается сейчас вспомнить. Может, потом получится, если понадобится.

¹⁶ Ибо сон есть ничто иное как репетиция смерти.

– Агась, – ответила София. Она по-прежнему улыбалась, но уже иначе, лишь уголками тонких губ, покрашенных розовым блеском, в тон блузке. Глаза её забегали в лёгком недоумении.

– А-а-а, – нахмурившись, я почесал лоб. – Ну, тогда входите, пожалуйста.

Я жестом пригласил её. Она поблагодарила меня, подавшись вперёд в лёгком, почти незаметном поклоне, и только после этого вошла.

– Ну что ж, сегодня у нас с вами последняя встреча, – сказала София, снимая с плеча сумочку.

– Угу, – пробурчал я.

– Давайте закрепим пройденное на прошлом занятии, разучим пару новых движений и закончим полноценным танцем.

– Как скажете. Я только в ванную сбегая сперва ненадолго. Вы пока располагайтесь, почувствуйте себя как дома.

– Э-э-э-м... хорошо. А с вами всё в порядке?

– Да, спасибо. Мне просто нужно... сделать кое-что. Я скоро вернусь.

Запершись в ванной, я умыл лицо, почистил зубы; пристально глядя на себя в зеркало попытался привести мысли в порядок, проснуться по-настоящему, окончательно. Затем вернулся в гостиную. София избавилась от верхней одежды и стояла теперь у шкафа вполоборота ко мне, рассматривала виниловые пластинки, стопкой лежащие на одной из полок. Для неё – родившейся в тридцать пятом – это штука наверняка совсем диковинная.

– Как вам моя скромная коллекция? – спросил я, подойдя к Софии.

– У вас так много классической музыки! – сказала она. – Я раньше не обращала внимания.

– Да, это давно уже единственная музыка, которую я могу слушать.

– Правда? Почему?

– Ох, боюсь это слишком длинная история...

Она понимающе кивнула.

– Знаете, для танца музыка очень важна...

– Не поверите, но давным-давно, когда я был молод, один очень близкий и дорогой моему сердцу человек сказал мне то же самое.

– Ну, поверить в это не так уж трудно.

– Хм... да, и правда. Действительно не трудно, пожалуй. Не знаю, зачем я так сказал.

– Наверное, это просто была фигура речи?

– Фигура речи, точно. Верно сказано.

– Вы уже подумали, какую песню хотите выбрать для танца?

– Я думал, но, честно говоря, так и не смог определиться с выбором.

– Хорошо. Это ничего. У меня есть пара идей, если не возражаете.

– Не возражаю ничуть, буду только рад.

– Первым делом я подумала о Кейт Буш...

– Кейт Буш?! – удивился я. Удивился так сильно, что аж напугал Софию.

– Ох, ну, если вам не нравится Кейт Буш... – растерялась она.

– Да нет, – сказал я, – я обожаю Кейт Буш. – Просто вы такая молодая... я бы в жизни не поверил, что вы вообще знаете о Кейт Буш.

– А я только старую музыку и слушаю, – заявила она. – Из современного ничего не нравится. По работе приходится иногда, конечно, ставить всякое... но это не моё. Я поэтому частные уроки больше люблю. Особенно с пожилыми (а у меня много пожилых клиентов). Вы все душевные такие, с вами есть о чём поговорить. Зря люди твердят, что вы ворчливые и вредные.

Я рассмеялся.

– Ой, я, наверное, лишнего болтаю? Простите меня.

– Да нет, всё в порядке.

– Мы просто с вами довольно давно занимаемся, я к вам привыкла. А когда я привыкаю к человеку, то у меня всё барьеры спадают – и тут уж всё: берегись, спасайся, кто может!

– Ну, это здорово, София. Я рад, что вам комфортно со мной.

– Да, вы хороший, один из лучших моих учеников.

– Да бросьте, вы, наверное, это всем говорите...

– Если честно, то да, всем говорю.

После занятия я предложил ей остаться на ужин, однако она отказалась. Предложение остаться на чай София также отвергла.

– Я бы с радостью, но мне нужно спешить, правда.

– Тогда заглядывайте в другой раз. Просто как к другу. Вы знаете, где я живу, у вас есть мой номер. Я буду очень рад. Поговорим о музыке, съедим что-нибудь вкусное, выпьем что-нибудь противное.

– Спасибо большое за приглашение, – сказала она, стоя в дверях. – Я обязательно загляну, когда выдастся свободный денёк.

Конечно, это было враньё. Она не собирается приходить. С чего бы вдруг? Я всего лишь её ученик – один из многих. Если бы София являлась в гости к каждому оболтусу, которого научила танцевать, у неё не осталось бы времени ни на что другое. И всё же было странно видеть её в последний раз. Словно она уходит в мир иной, а я остаюсь горевать по ней. Хотя, казалось бы, чего тут горевать? Мы были едва знакомы. Но возможно дело в том, *что* она для меня сделала, не представляя, какое огромное это имеет значение.

София ушла. Я закрыл за ней дверь, включил телевизор, выключил свет и в очередной раз направился к бутылке бурбона.

На следующий день начался дождь. И он всё никак не прекращался. Я открыл дверь нараспашку, прислонил к ней стул, чтобы она не закрылась от ветра, выключил телевизор, сел на диван и стал любоваться дождём, наслаждаться его шумом. Как забавно: это всего-навсего множество капель воды, льющихся с неба. А сколько чувств пробуждает такое превосходное в своей обыденности явление. И как разнообразен порой эффект от их созерцания. Бывает становится грустно. Бывает становится очень грустно. Бывает становится слишком грустно. Но иногда чувствуешь неподдельную радость, восторг, какое-то даже облегчение, свободу от участи людской доли. А порой и вовсе возникает чувство, с трудом поддающееся описанию и определению. Это квинтэссенция всех возможных чувств – оно содержит в себе каждое из них, но при том непохоже ни на одно из них. В этом чувстве, думаю, мне, сокрыто нечто очень важное для понимания человеческой сущности, ответ где-то в этих капельках дождя...

Созерцание данного метеорологического явления натолкнуло меня ещё и на мысль о том, что человек не воспринимает мир таким, какой он есть на самом деле. Всегда есть некая тонкая, но непроницаемая грань, отделяющая человека от подлинной, голой реальности. И в этой «границе» содержится, вероятно, всё, что делает человека человеком и всё, что мешает ему стать богом. В том числе и желание, стремление им стать.

Я размышлял и размышлял под аккомпанемент дождя, с удовольствием погружаясь в мысли об отвлечённых, абстрактных материях, позволяющих забыть обо всём, что было, есть и будет. Но тут до меня вдруг донёсся грохот со второго этажа. Будто что-то тяжёлое упало на пол. Вероятно одна из коробок, там хранящихся. Я машинально обратил взор к потолку. Но коробки сами по себе не падают. Это я точно знаю. Что могло заставить её упасть? Ветра там нет и быть не может. Какой-нибудь зверь, птица, крыса, которая забрела туда через чердак? Или человек? Нет. Такого быть не может. Я бы услышал его раньше. Чтобы снаружи попасть на

чердак, нужно сперва как-то забраться на крышу, что в такую погоду сделать особенно сложно. Лестницы там нигде нет, нет даже ничего такого, что можно было бы использовать как лестницу. Но если допустить, что каким-то чудом человеку удалось забраться на крышу, то ему, дабы проникнуть на чердак, придётся ломать черепицу, не свалившись при этом вниз (надо ли говорить, что сделать это голыми руками практически невозможно¹⁷). Другого способа попасть внутрь нет (чердачное окно я тоже наглухо заколотил). Если же ему удастся и это, то далее он должен либо выломать дверцу, либо выдернуть как минимум две половицы, дабы попасть на второй этаж. И то, и другое, и третье производит шум, который невозможно не услышать. Его не скрыть ни в дожде, ни в грозе. А раз так, значит, вероятность того, что там, на втором этаже, находится человек, крайне мала. Выходит, можно со спокойной душой (ну, почти) пойти и проверить. Покончить с этим, чтобы дальше волочить своё жалкое существование.

Я встал, отодвинул стул, закрыл дверь, запер её на все замки и замер, прислушиваясь к каждому шороху. Телевизор молчал, тишина стояла звенящая¹⁸. Я слышал, как бьётся моё сердце, как кровь бежит по венам (я был точно уверен, что слышу это). Тишина была столь чистой, что всякий раз, когда моргал, я слышал шум ресниц – словно взмах крыльев мифической птицы (я был точно уверен, что слышу это). Мне стало не по себе. А уж когда заскрипели половицы на втором этаже, я и вовсе погрузился в беспросветный ужас. Волосы встали дыбом, сердце замерло, кровь застыла.

«От беготни крыс не скрипят половицы», – сказал я сам себе и на цыпочках побежал в кухню, взял нож.

Ключ от двери, ведущей на второй этаж, лежал в тайнике в одной из книг на полке, но в тот момент я никак не мог вспомнить, в какой именно книге находится этот тайник. Я шёпотом ругал себя самыми последними словами, проклинал всё на свете и перебирал подряд все книги в поисках заветного ключа.

Найдя его наконец, я стал подниматься по лестнице. Очень медленно, осторожно, прощупывая каждую ступеньку, чтобы ни одна из них не выдала меня.

«Может мне всё это просто послышалось, – успокаивал я себя. – Человек, который видит мёртвых людей, вполне может слышать то, чего нет. Да и у кого так не бывало: сидишь дома один и слышишь какой-то шум. А потом понимаешь: померещилось. У всех бывало. Вот и нечего волноваться понапрасну».

Но потом я решил, что лучше готовиться к худшему:

«Если там в самом деле человек? Что мне тогда делать? Зависит, наверное, от того, какую цель он преследует. Хотя какую цель может преследовать тот, кто забирается в чужие дома? Да ещё и с таким рвением. Хочет, конечно, поживиться каким-нибудь добром. И ради этого он готов убить каждого, кто встанет у него на пути».

И тут меня осенило: эврика! Ну конечно! Он убьёт каждого. Чего бы не убить в самом деле, когда столько сил тратишь на то, чтобы проникнуть в дом через крышу среди белого дня и стащить пару побрякушек да подороже, а какой-то немощный старикашка внезапно заявляется с кухонным ножом и пытается тебе помешать. О да! Прекрасно! Вот оно! Этот случайный непрошенный гость станет моим спасением, моим избавлением от всего.

В голове у меня проносилось множество мыслей, пробуждающих во мне трепет и волнение:

«Интересно, а как он убьёт меня? Может мне самому предложить ему на выбор пару вариантов? И какой лучше способ тогда избрать? А сделает ли он всё быстро и безболезненно, если я попрошу его, исполнит ли мою просьбу. И что делать, если он откажется?»

¹⁷ Или скорее даже просто невозможно, без всякого «практически».

¹⁸ И от этого на душе становилось тяжело.

Подгоняемый этими и многими другими мыслями, я уже ничего не боялся и бодро шагал по лестнице. Настолько бодро, что почти не заметил, как вставил ключ в замок, открыл дверь и впервые за много лет оказался в длинном тёмном коридоре, по обе стороны которого располагались суровые стражи, охраняющие моё прошлое, или скорее меня от моего прошлого, сделанные из дуба, покрытые тёмно-коричневой краской. Я нажал на выключатель, но свет, конечно, не загорелся¹⁹. Бордовая ковровая дорожка была покрыта слоем пыли, окно в конце коридора занавешено куском какой-то ткани, наспех прибитым к стене, а на полу возле одной из дверей валялись молоток, гвозди и несколько досок. Шум доносился из комнаты, которая раньше служила мне своего рода студией. Она скрывалась за последней дверью справа. Туда я и направился.

Приближаясь, я в какой-то момент услышал, пусть и приглушённо, хорошо знакомую мне мелодию, которая бередила старые раны. Я надеялся, что это лишь странная игра воспалённого разума, но стоя у двери понял: нет, песня действительно звучит.

Я просунул руку между досками, нащупал ручку, нажал на неё и толкнул дверь. Она со скрипом распахнулась. Если там действительно кто-то есть, он уже точно знает о моём прибытии. Я присел на корточки, кряхтя пролез под досками и оказался внутри.

В комнате было темно. Ещё темнее, чем в остальной части дома. Мрак тут действительно словно сгущался. Он не был просто отсутствием света, он был отдельной субстанцией, наполняющей пространство комнаты. Поэтому я не сразу заметил фигуру, стоящую спиной ко мне в дальнем углу справа, у журнального столика, на котором стоял виниловый проигрыватель, подаренный мне Ванессой на нашу третью и последнюю годовщину, и деревянный ящик – в нём хранились пластинки. Но одна сейчас вертелась в проигрывателе. Альбом «Meat Is Murder» группы The Smiths. Звучала песня «Well I Wonder». Наша с ней песня.

Неподвижная тёмная фигура держала в бледных руках конверт от той пластинки, не отрываясь смотрела на пластинку, что вертелась в проигрывателе и, казалось, вслушивалась в песню всей своей душой, всем сердцем, вгрызалась в каждый пассаж, каждую ноту и фразу как в спелый фрукт, дабы ощутить вкус прошлого, по которому тоскуешь. Для неё эта песня, видимо, тоже много значит. Посреди комнаты вверх тормашками валялась коробка, из неё высыпалась часть вещей.

Я стал подходить ближе к таинственной фигуре, и тайна её постепенно рассеялась. Я узнал, кто стоит передо мной. Хотя, наверное, знал с самого начала, как только бросил на неё первый взгляд, но отказывался это признавать, неосознанно заглушая внутренний голос, что твердил мне очевидное. Никакого вора-убийцы, никакого невероятного проникновения в дом через крышу, никакого избавления. Былое воодушевление вмиг иссякло. Фигура повернулась и обратила на меня свой взор. Это была моя Ванесса, облачённая в длинное до пола чёрное платье, которое так нравилось нам обоим. Окровавленное, оно вообще-то должно лежать в одной из коробок, коими полна эта комната. Однако на самой Ванессе, как и на её одежде, нет ни следа. Она свежа, юна, цела и невредима. Она прекрасна. У неё длинные чёрные волосы и зелёные глаза, полные чувств и жизни – что крайне необычно для фантомов – полные хладнокровной осмысленности, столь свойственной настоящей Ванессе.

Ванесса отложила конверт в сторону. Песня заканчивалась, и она отмотала её к началу. Затем приблизилась ко мне вплотную. Она была совсем не как другие фантомы. Ванесса замечала меня, даже прикасалась ко мне. От неё исходил дивный аромат и тепло. Глядя на меня с трепетом, нежностью и сочувствием, она пригладила мои растрёпанные волосы, поправила воротник фланелевой рубашки, застегнула все пуговицы. К глазам моим подступили слёзы, и в стремлении скрыть это постыдное зрелище я бросился к Ванессе с объятиями. Я даже не успел подумать о том, насколько глупо и нелепо пытаться обнять фантома. Всё равно что

¹⁹ И я нажал на него скорее всего для того, чтобы убедиться, что свет точно не включится.

пытаться словно птицу за хвост схватить приятное воспоминание, неожиданно возникшее в голове, и физически вернуться таким образом в то время и место, которое было самым лучшим, самым счастливым, и остаться там навсегда. Так сколь же сильным оказалось моё удивление, когда вместо того, чтобы натолкнуться на жестокую, душераздирающую призрачность Ванессы я ощутил её тело, полное жизни.

Удивление, однако, продлилось недолго. Оно почти сразу сменилось чувством восторга, восхищения, в котором можно было запросто захлебнуться. Я будто шагнул в пропасть, готовый разбиться, но вдруг обнаружил, что могу летать.

Волосы Ванессы пахли счастьем, дождём и магнолией. Я сжимал её в объятьях всё крепче, не желая отдавать ни смерти, ни судьбе, ни жизни, ни кому бы то ни было ещё. И когда она с молебной скорбью посмотрела мне в глаза, я решил, что делаю ей больно.

– Прости, – сказал я, ослабив хватку.

В ответ Ванесса, поджав губы, принялась качать головой. Я до конца не понимал значения этого жеста и хотел уточнить. Но не успел. Над её головой возникла туча и пролилась дождём. В том дожде Ванесса растворилась без следа. Пустота вновь заполнила собой всё вокруг. Утратив силы, я упал на колени, сел на пол и разрыдался. Песня закончилась, а следующая почему-то так и не зазвучала.

**I am being haunted
It's four o'clock in the morning
And I'm sitting on my stairs
And there's bangin' 'round the bedroom
Even though I know there's no one there
And I am here all by myself
And you're somewhere else with someone else
And I am being haunted by a love that isn't there
There is something in my house, my house
It's just a ghost of the long, long dead affair
There is something in my house, my house
I just keep a hearing, you runnin' on up my stairs but you're not there**

Глава 2

Трудно сказать, сколько времени я провёл на втором этаже, позволяя горю вырваться наружу. Его хватило на то, чтобы воспоминания и мысли, которые я с таким усердием стремился подавить, вновь вернулись ко мне, поглотили меня и заставили страдать. Уходить я не хотел. Не потому, что мне будто бы нравилось сидеть посреди моего трагичного прошлого – расчленённого и разложенного по коробкам подобно внутренностям фараона²⁰. Просто я перестал хотеть чего-либо. У меня и прежде с этим были проблемы, а сейчас так вообще...

Однако провести там вечность всё равно бы не вышло, так что пришлось встать, выключить проигрыватель, убрать пластинку обратно в конверт, поднять с пола коробку, запихнуть в неё то, что вывалилось и вернуть на место. Затем спуститься на первый этаж, не запирая за собой дверь, поскольку в этом больше не было смысла, зайти в ванную, умыться, проследовать в гостиную и сменить мокрую одежду, облачившись в чёрный костюм.

Мысли и воспоминания плясали и кружились в моей голове. Самой назойливой мыслью была та, что напоминала мне: ты ни разу не посетил её могилу.

«Это правда, – говорил я (разумеется, не вслух), обращаясь то ли к себе самому, то ли к чему-то, что принято называть совестью. Я и сам до конца не понимал, с кем говорю, но мне эти «разговоры» помогали сохранять остатки самообладания и придавали немного уверенности. – Я и на похороны к ней не пришёл. Наверное, мне должно быть стыдно. В ту пору, помнится, все твердили, что я обязан пойти. И никто не спросил, почему я не хочу идти. Можно, конечно, предположить, что причины были им известны в силу их очевидности, однако, будь это так, они бы не стали меня принуждать».

Общепринятое представление гласит: посетить похороны близкого (или хотя бы знакомого) человека – значит выказать ему некое уважение, проводить в последний путь. Ну а я никогда не понимал, где тут связь. Видеть её бездыханное тело, нести гроб, опускать его в могилу, засыпать землёй, слушать унылые речи священника, видеть, как пожирает её эта самая земля, как она окончательно перестаёт быть частью этого мира и как он, мир, тут же преобразуется самым худшим образом, став пустым, холодным, уродливым. Всё это казалось мне предательством, кощунством. Я будто бы соглашался с тем, что она мертва. Нет уж. Я предпочитал считать Ванессу живой. Конечно, в конце концов это толкнуло меня к совершению страшного поступка – подлинного оскорбления её памяти – к желанию предать забвению всё, что с ней связано. Но я по-прежнему считаю: пусть и частично, я был, тем не менее, прав. Хотя от этого, конечно, ничуть не легче. Лучше бы я проводил её по-настоящему – только и всего: лишил бы себя жизни и последовал за ней куда угодно. Я пытался это сделать. Но не смог. Может из-за отца, может из-за Роберта. А может они были всего-навсего оправданием, в то время как истинная причина заключалась в моём отчаянном и неосознанном стремлении сохранить себе жизнь, свойственном каждому трусливому и малодушному человеку, коим я и являюсь. За это я стал нещадно презирать себя. Из презрения того возникло чувство стыда перед Ванессой, которое и мешало мне посетить её могилу все эти годы. Однако, появление Ванессы в тот день заставило меня посмотреть на всё иначе.

В жизни редко представляется шанс исправить хоть что-то. И если такой шанс представляется, то стоит им воспользоваться по крайней мере ради того, чтобы поглядеть, что из этого выйдет. Пусть даже это нечто незначительное²¹, вроде первого визита к могиле любимой.

Руководствуясь такой довольно шаткой философией, я в спешке, обусловленной скорым возможным наплывом сомнений и колебаний, способных удержать меня дома, нацепил своё

²⁰ В Древнем Египте, правда, были не коробки, но какая к чёрту разница!

²¹ «Незначительное», поскольку совершённых ошибок это уже не исправит.

старое чёрное пальто, обмотал шею шарфом, прикрыл седую голову шляпой, захватил зонт на случай, если солнце после дождя будет слишком ярким и вышел на улицу.

Я шёл по узкой, извилистой рыжей тропе, размытой дождём, осматривался вокруг. Я вновь видел деревья и небо, видел заброшенные дома, которые выглядели удручающе. Ибо что может быть более удручающим, чем сокрушённое величие? Они представлялись мне поникшими титанами, сосланными на край света злыми, жестокими богами за стремление к свободе и посягательство на божественность. А мир вокруг нас казался таким нелепым, чудным, карикатурным, выстроенным наспех кем-то не очень умелым лишь для того, чтобы служить декорацией, отделяющей меня (зачем-то) от мира истинного, давно меня ждущего. Конечно, всё это исключительно от того, что я давно не выходил из дома. Тем не менее, ощущения эти были даже приятны, они пробуждали во мне некое подобие радости. Раз этот «настоящий», «реальный» мир всего-навсего ширма, декорация, значит, где-то, вероятно, есть и другой мир, предназначенный мне и таким, как я. Чувств несусветная, безусловно, но до чего привлекательная! Парадокс и великая ирония состоит, однако, в том, что её привлекательность как раз и опровергает её вероятную истинность. Ведь существование какого-то другого мира, кроме этого, в котором я мог бы коротать вечность и который казался бы мне уютным, гармоничным содержанием моего внутреннего «я», походит на идею загробного мира, являющейся частью самых древних религий, верований. Из этого следует, что всё религиозное исходит из потребности человека, а не от воли божьей. Можно, конечно, это (как и всё иное) оспорить, и в пылу рассуждений дойти до того, что сам человек таким вот образом становится богом, претворяя в реальность устремления своего разума или, если угодно, души²². Но я такую мысль решительно отвергаю. Знал я одного человека, возомнившего себя богом. Закончилось это очень и очень плохо.

Дождь, пусть уже не столь сильный, всё никак не заканчивался. Дул холодный ветер. Я шагал, подавшись вперёд, придерживая шляпу, чтобы она не слетела с головы. На мои ботинки налипла грязь, и только после этого я решил сойти с тропы, хотя не стоило ступать на неё вовсе. Я шёл теперь, будто конькобежец, с силой стирая грязь с подошвы об мокрую траву. Тропа становилась шире и прямее, уходила ввысь, покрывалась, наконец, асфальтом; впереди виднелись здания – продуктовый магазинчик и аптека по левую сторону, канцелярский магазин и магазин электротоваров по правую. Все давно и навсегда закрылись. Чуть дальше – квартиры, школа, библиотека, церковь и какие-то новые здания, которые я видел впервые.

Город, судя по всему, как и я, так и не оправился от той трагедии. Вернее, это были всё же две разные трагедии, пусть и причина у них была, суть, одна – Кавиш. Да, исчезли толпы кавишианцев, предрекающих погибель всему роду человеческому, нет надписей на стенах – цитат из книг Кавиша, и книги его вряд ли можно найти в магазинах. И тем не менее... что-то витало в воздухе. Что-то зловещее. Между зданий, как между строк оно скрывалось, но никуда не исчезло. Ребеллион не стал прежним – вот в чём дело. Осквернённый и проклятый, он сочился духом кавишианства.

Я шагал прямо походкой самой обычной, пока не оказался окружён бетонными гигантами, раскрашенными в яркие цвета, что, вопреки замыслу, лишь подчёркивало торжество унылой серости, и стальными, рычащими зверьми, снующими туда-сюда, придававшими своей суетой, как ни парадоксально, ленной сонливости ритму города. У меня помутнело в глазах, и я решил, что смотреть себе под ноги будет гораздо приятнее. Я повернул направо и оказался в коммерческом квартале.

«Где-то здесь должна быть цветочная лавка», – заверил я сам себя, и от идеи смотреть под ноги пришлось на время тут же отказаться. Я глядел по обе стороны квартала в поисках нужной вывески.

²² Души?

Такая вывеска нашлась довольно быстро. Третья справа – белая, с надписью, сделанной большими фиолетовыми буквами: цветы. Я переложил зонт в левую руку и вошёл в дверь под ней.

Внутри было тепло, светло, просторно и уютно. Никого, кроме девушки, стоявшей за прилавком, устремившей всё своё внимание в планшет. Повсюду пёстрые цветы, открытки и всякие мелкие безделушки. Я смотрелся там, как гробовщик на свадьбе. Благо подобное было мне далеко не в новинку. Я снял шляпу, сделал пару шагов и вдруг расслышал музыку, доносящуюся из колонок, – такую знакомую, что сердце сразу откликнулось на неё, словно собака на проезжающую мимо машину, откликнулось ещё раньше, чем я успел её узнать или понять хоть что-нибудь. И это оказалась песня, которую я сочинил много лет назад в качестве подарка Ванессе. Она вошла во второй альбом группы, которую я основал вместе с Марком. Мы были, пожалуй, второй по популярности группой из тех, что вышли из дома Кальви (первой была группа Тори), но я не ожидал услышать одну из наших песен спустя столько лет. Мне казалось, про нас все давно забыли. И мне вроде как должно было быть приятно. Однако, обратившись к глубинам собственной сущности, я не обнаружил ни единого чувства, которое можно было бы назвать приятным. Смутившись, я ошелбенел. Девушка заметила меня, отложила планшет в сторону.

– Здравствуйте, – громогласно и звонко произнесла она с дежурной улыбкой, – Чем я могу вам помочь?

У неё были короткие розовые волосы, зачёсанные вверх, большие сияющие карие глаза, кольцо в правой ноздре и жёлтая толстовка с надписью The Hesperides – так называлась наша группа.

Ни тон её, ни улыбка, ни манящий, кокетливый взгляд, обещающий многое²³, не трогали меня. Я стоял и молчал, уставившись на девушку ошеломлённым взглядом, нервно теребя в руках свою шляпу, держа зонт под мышкой. Она продолжала улыбаться, терпеливо ждала, когда я скажу что-нибудь, а когда ожидание затянулось слишком надолго, попыталась мне помочь:

– У нас есть розы всех оттенков. Подойдут для любого случая. Есть также прекрасные альстромерии – для особо искушённых дам, избалованных вниманием...

Она продолжала называть виды и сорта цветов. Я развернулся и готов был уже выйти прочь, как вдруг услышал у себя за спиной голос девушки, который стал более холодным, совсем иным, нежели прежде:

– ...И гипсофилы. Она ведь любила гипсофилы. Возьмите букетик, Эрик. Ей будет приятно.

Эти слова, будто какое-то магическое заклинание, парализовали меня; я замер, ошелбенел и оказался не в силах даже поразмышлять о произошедшем, о том, откуда она узнала моё имя, откуда узнала про гипсофилы.

Перед глазами моими возникла комната Ванессы в доме её родителей, погружённая в полумрак, где мы провели немало. На стенах висят постеры Malice Mizer и других групп, которые ей нравились. Слева кровать, прямо, у окна, завешенного тяжёлой, тёмно-синей шторой, стол. На столе книги и тетради, ваза с гипсофилами. Горят свечи. Мы в самом центре комнаты, прижавшись друг другу, медленно покачиваемся в некоем подобие танца под музыку.

Гипсофилы действительно были любимыми цветами Ванессы. Пожалуй, единственными, которые ей нравились. Они всегда стояли у неё в вазе. Ещё до того, как я стал дарить их ей и после того, как перестал дарить, когда мы расстались.

Я стоял напротив стеклянной двери и по-прежнему не мог пошевелиться; но “чары”, тем не менее, спали, образы исчезли, и я смотрел теперь на дождь, который становился слабее, на

²³ Должно быть, это часть сервиса нынче. Даже в таких местах, как цветочная лавка.

вывеску магазина напротив, на толпы прохожих, на пролетающий мимо пластиковый пакет. Затем я обернулся к девушке за прилавком и рассеянно произнёс:

– Что вы сказали?

– Гипсофилы, – повторила она прежним голосом как ни в чём не бывало. – Прекрасный выбор. У нас есть классические белые, синие, радужные... – девушка задумалась на секунду, – и фиолетовые вроде бы тоже остались, – она принялась осматриваться, ища взглядом фиолетовые гипсофилы.

Я быстро подошёл ближе к прилавку.

– Нет, вы не так сказали. Повторите в точности те слова.

Но девушка молчала и только хлопала глазами, глядя на меня. Улыбка вмиг сползла с её лица, рука зависла над планшетом.

– Вы меня узнали, не так ли? – спросил я.

– Простите?... – только и сказала она в ответ.

– Что за песня звучала тут только что?

Она испуганно посмотрела в чёрный дверной проём позади неё, откуда и доносилась музыка, а потом вновь на меня.

– Песня? Я не знаю. Я, честно говоря, не обратила внимания. А в чём дело?

– Кроме вас здесь есть ещё кто-нибудь?

– Н-нет. А почему вы спрашиваете?

– Потому что если вы здесь одна, а вы одна, то значит, музыку ставили именно вы.

– Да, ставила я. Но я не подбирала её специально. Хотите я выключу?

– Лучше скажите мне, что у вас на толстовке написано.

Девушка, которую, если верить бейджику на груди, звали Диана, посмотрела на надпись, будто это пятно, которое она посадила за обедом и до сей поры не замечала.

– Понимаете, это не моя толстовка... – пыталась оправдаться она, переведя взгляд снова на меня.

– Не ваша? А чья же?

– Моего молодого человека, – смущённо ответила Диана после некоторых колебаний.

– Ах, вот оно значит как! – с насмешкой воскликнул я. – Ну, понятно, понятно, – я понизил тон. – Конечно. Молодого человека толстовка... И часто вы на работу ходите в его вещах?

– Я бы попросила вас не разговаривать со мной в таком тоне, – решительно заявила она (и было заметно, сколь сильно она старается набраться решимости противостоять мне). – Я вас вижу впервые в жизни, что за песня – не знаю, что на толстовке написано – без понятия. Я тут стою и продаю цветы. Всё. Хотите купить – пожалуйста. А нет – идите и донимайте кого-нибудь другого.

И слова эти её подействовали на меня. Я подумал, что, быть может, в самом деле напрасно вот так набросился на бедную девушку; она, наверное, и правда ничего не знала, это лишь совпадение, череда совпадений... Я пытался рассуждать здраво:

«Я вышел из дома в абсолютно случайный день, неожиданно для себя самого, заранее ничего не планировал. Это молодая²⁴ девушка, которую я вижу впервые в жизни. Она меня не знает, а уж тем более не знает Ванессу и того, что произошло с нами когда-то уж очень давно. Она просто не может этого знать. Те слова мне слышались. Они – продукт моих сегодняшних переживаний. Ей незачем такое говорить. Всё в порядке. За мной никто не следит, никто не хочет причинить мне вреда».

– Так вы собираетесь брать что-нибудь? – спросила Диана.

²⁴ Молодость – это действительно важная деталь в данном случае. Ведь молодёжь мало что знает (или вообще ничего не знает) о доме Кальви, о кавишианстве, о нашей группе.

– Да, – ответил я, глядя себе под ноги. – Гипсофилы, белые.

Диана стала собирать букет, перевязывать его ленточкой, а я полез в карман за бумажником. И тут послышалось шуршание колёс по асфальту и шум двигателя. На стенах заплясали красно-синие огоньки. Я обернулся и увидел полицейскую машину.

«Хм, интересно, – подумал я, – что же случилось?» – но потом догадался в чём дело и посмотрел на Диану.

– Это вы их вызвали? – спросил я.

– Вы меня очень напугали, – вновь оправдывалась она, протягивая мне букет со всё той же дежурной улыбкой.

– В этом не было необходимости. Я бы не причинил вам вреда.

– В тот момент мне казалось, что вы вполне на это способны.

Двигатель смолк²⁵, хлопнула закрывшаяся дверь. Из машины вышла женщина лет тридцати в чёрной форме. Она шла стремительно, мужеподобно, немного покачиваясь, но очень уверенно, не теряя выправки и строгого стана. Она глядела по сторонам, словно пыталась держать под контролем абсолютно всё, что видит. На поясе у неё висели наручники, дубинка, пистолет и ещё много всего. Звон был слышен даже сквозь стены, дверь и музыку²⁶. Она открыла дверь и вошла. Взгляд её казался вполне доброжелательным и вместе с тем строгим, преисполненным мудрости и желания во что бы то ни стало восстановить справедливость, которое, конечно, было всего-навсего побочным эффектом молодости. Через пять-десять лет от него ничего не останется.

– Доброго дня, – сказала полицейская, сняв фуражку. – Младший сержант Камилла Кармашек, – представилась она, – номер жетона 328495, к нам поступил сигнал о происшествии. Что у вас случилось?

Растерянная²⁷ Диана не могла вымолвить ни слова. Я попытался ей помочь.

– Всего лишь небольшое недоразумение. Не так ли? – обратился я к ней.

Диана смотрела то на меня, то на полицейскую, но продолжала молчать.

– Пусть девушка сама ответит, – строго велела Камилла Кармашек.

– Я просто испугалась, – робко сказала Диана. – Он говорил странные вещи.

– Какие?

– Спрашивал про музыку, которая его, видимо, очень злила. Я не знаю, почему.

– Он угрожал вам?

– Нет.

– Что ещё он говорил?

– Послушайте... – попытался вмешаться я, но Кармашек тут же меня осадила:

– Помолчите, пожалуйста.

И я повиновался.

– Он спросил, что за надпись у меня на толстовке. В тот момент я и нажала на кнопку: на моей толстовке нет никакой надписи.

– Как это нет?! – усмехнулся я, и бросил взгляд на её толстовку. Прежней надписи действительно не было.

Мне в очередной раз стало не по себе. Я будто глядел в лицо худшему своему кошмару, который не отступал с пробуждением, а становился только могущественнее, всё крепче сплетаясь с реальностью²⁸. Слабость в ногах вынудила меня опереться о прилавок. Перед глазами всё завертелось-закружилось, зонт мой упал на пол, но я не услышал при этом звука падения.

²⁵ Или мне показалось, что он смолк.

²⁶ Или, может, я это себе выдумал?

²⁷ Сложно сказать, кто из нас находился в большей растерянности.

²⁸ С тем, что принято считать реальностью.

Голоса тоже звучали приглушённо. На лбу у меня выступил пот²⁹, сердце бешено колотилось³⁰ – так в дверь стучит тот, кто очень хочет попасть внутрь, но кому долго не открывают.

– Мужчина, – звала меня Камилла Кармашек и протягивала мне зонт.

Я посмотрел на неё, взял зонт из её рук.

– Вам лучше пройти со мной, – сказала она.

– Зачем это? – спросил я, и собственный голос прозвучал для меня чужеродно, будто откуда-то издалека, извне.

– Я хочу задать вам несколько вопросов.

– Можете задавать их прямо здесь. Нам необязательно для этого куда-то идти.

В лавку вошёл крупный, смуглый мужчина лет сорока пяти, чьи волосы были слегка сбрызнуты сединой, а грустные глаза налиты кровью.

– Давайте хотя бы выйдем на улицу, чтобы не смущать покупателей, – предложила хранительница правопорядка.

– Ну хорошо, – согласился я, расплатился с Дианой, оставив в два раза больше, чем должен был за цветы, и с букетом в одной руке и зонтом в другой вышел вслед за Камиллой Кармашек, не забыв при этом надеть шляпу³¹.

На улице я почувствовал себя немного лучше. Пока в небе не засияло яркое солнце, что, видимо, изо всех сил старалось восполнить часы своего отсутствия. Я не был этому рад и страшно нахмурился, оставшись единственной мрачной тучей на весь Ребеллион. Раскрыв зонт, я сел на скамейку подле цветочной лавки. Камилла начала задавать мне вопросы, пытаясь понять степень моего помешательства и характер моих намерений.

– Я должна быть уверена, что вы никому не причините вреда, – пояснила она, когда в своих попытках зашла в тупик.

– Ну, если вам недостаточно моего честного слова, а вам его, конечно, недостаточно, можете подбросить меня до места, к которому я, собственно, и направляюсь. Там я точно никому не причиню вреда.

– И что же это за место? – поинтересовалась она.

– Восточное кладбище, – ответил я.

– Восточное? – удивилась Камилла Кармашек.

– Да, восточное, – повторил я.

²⁹ Так мне, по крайней мере, показалось.

³⁰ Тут не могло быть никаких сомнений.

³¹ Хотя, вполне мог забыть.

Глава 3

Меня несколько не удивило, что юная Камилла Кармашек ничего не знала о восточном кладбище, хотя и работала в полиции. О нём вообще предпочитают не вспоминать с тех самых пор как в далёком две тысячи двадцатом возвели северо-западное кладбище – более аккуратное, ухоженное, не столь мрачное, отвечающее всем стандартам и самым современным на тот момент представлениям людей об убранстве кладбищ. Никаких огромных чёрных кованых ворот с горгульями, что приманивают ворон и откликаются зловещим скрипом чуть ли не на каждое дуновение ветра, никаких деревьев – ведь с них падает листва, которую потом убирать никто не станет; в общем, ничего лишнего. Только простор поля, покрытого зеленой травой и бесконечные ряды надгробий. Ах да, и расположение у северо-западного кладбища с точки зрения градостроительного зонирования, пожалуй, более удачное³². Оно находится на некотором удалении непосредственно от города. Для кладбища это явный плюс (и о чём вообще думали те, кто решил разместить восточное кладбище столь близко к жилому сектору). Хотя лично мне в этом смысле восточное, конечно, удобнее, поскольку находится гораздо ближе к дому.

На «востоке» похоронены почти все, кто был мне дорог, кого я любил всем сердцем, кого когда-либо знал. Ванесса, Роберт, отец и мать, Саша и Шарлотта, Пётр Бурдерски, Франк, Соломон Кальви Второй³³ и многие другие. Мама вполне могла быть похоронена на «северо-западе», но она давным-давно, примерно через год после смерти отца, зарезервировала себе место рядом с ним и осталась верной своему решению до самого конца, даже когда восточное кладбище пришло в полнейшее запустение.

– Рядом с ним мне всё ни по чём, – так она говорила. Ничто не могло по-настоящему их разлучить. Смерть в том числе.

На «северо-западе» похоронены только двое – Скартл и Тори, да и то лишь потому, что тела так и не были найдены, а мёртвыми их признали спустя тринадцать лет после исчезновения, в две тысячи двадцатом девятом году получается, если я правильно посчитал. Шестнадцать плюс тринадцать – двадцать девять, да, всё верно.

Камилла ехала очень медленно и задавала много вопросов. От самых простых и общих, вроде «Как вам погода?», «Куда ехать дальше?», на которые я отвечал слишком подробно, до более острых, имеющих под собой явную, конкретную цель, как, к примеру, «Зачем вы напугали девушку?», «Что было не так с музыкой?», на которые я отвечал предельно кратко³⁴.

Виды уродливого, изувеченного Ребеллиона пробудили во мне тоску³⁵ по годам давно минувшей юности³⁶. Предаваясь этим чувствам, я не сразу заметил, что Камилла везёт меня не на кладбище. Её молчание мне подсказало: она перестала спрашивать дорогу. Только тогда я опомнился и осознал, что пришла моя очередь задавать вопросы, на которые она не захочет отвечать.

– Куда мы едем? – то был первый вопрос.

– К восточному кладбищу, – ответила Камилла, поворачивая налево,

³² Насколько я могу судить.

³³ Или Младший.

³⁴ К тому же, она их мне уже задавала, так что и разглагольствовать не было смысла (поэтому я не знаю, зачем она задавала мне их вновь; возможно хотела проверить, будут ли различаться ответы).

³⁵ Ибо тоска – она повсюду.

³⁶ В том заключается жестокая ловушка жизни: времена даже самые жуткие, полные различных невзгод и страданий, оставшись далеко позади, будут пробуждать в душе (?) чувство ностальгии, тоски об утраченном.

– Да ну бросьте. Вы дорогу не знаете, но я-то её знаю хорошо. Кого вы пытаетесь обмануть?

– Я и не обманываю. Мы правда едем на кладбище. По дороге заглянем кое-куда – и затем сразу на кладбище.

– Куда заглянем?

Она не ответила.

Путь от коммерческого квартала к восточному кладбищу пролегает через улицу Венеры и Розы – одну из самых протяжённых в Ребеллионе – заканчивающейся развилкой. Чтобы добраться до кладбища, нужно повернуть направо на развилке, проехать несколько метров до музея готики – чёрного здания, напоминающего храм, выполненного в одноимённом стиле, повернуть налево – а там уж дорога сама выведет к кладбищу. Но если повернуть налево на развилке, тогда после некоторых петляний по улицам чуть более тесным, можно оказаться у ворот психиатрической клиники имени Йостера Брифа, названной в честь поэта, упрятого туда собственной женой в середине прошлого столетия. Здесь же дни свои закончил другой талантливый человек, которого я, в отличие от Брифа, знал лично, с кем был дружен в течение нескольких (не скажу, что многих) лет. И вид этого огромного серого здания, пожиравшего судьбы, не только пугал меня до дрожи, но и будил болезненные воспоминания, наполняя их силой, способной сокрушить меня.

Камилла остановилась у ворот клиники, повернулась ко мне и сказала:

– Я подумала вам стоит пройти хотя бы первичный осмотр.

– Вы, наверное, не слишком-то хорошо подумали, да? – ответил я.

– Или это или двое суток за решёткой. Выбирайте.

В камере изолятора было тесно, темно, холодно и мрачно. Однако я ничуть не сожалел о сделанном выборе. Глядя через единственное окно, маленькое, решётчатое, высоко расположенное, я ощущал всё сильнее разгорающееся желание навестить могилу Ванессы. Так, видимо, действует на меня заключение под стражу. Иначе как это объяснить? Да уж, знал бы раньше, давно бы напугал первую попавшуюся кассиршу.

От мысли этой мне стало смешно, и я, не в силах сдержаться, начал тихонько посмеиваться, сидя в углу. Люди вокруг, все гораздо моложе меня, болтали о всякой чепухе, но тут прервались и стали шептаться. Шёпот их напоминал мне насекомых, стрекочущих в ночной тишине. Потому я, не слишком заботясь о том, что они обо мне думают и захотят ли что-то со мной сделать, закинул ногу на ногу, прислонился к стене и надвинул шляпу на глаза.

Я пытался убедить себя, что мне нужно поспать. Хотя бы ради того, чтобы время пролетело быстрее. И вроде как я даже согласился сам с собой (а это случается не так уж часто), однако сознание моё, кажется, противилось, ибо в ответ на мои попытки провалиться в сон, порождало вихрь образов, звуков, слов, обрывков фраз и мелодий, удерживая меня от погружения во тьму полунебытия.

Время от времени мне удавалось прорваться, но лишь на нескольких коротких мгновениях, после которых я, вздрагивая, возвращался обратно.

Все вещи по прибытии у меня, конечно, забрали. Включая букет гипсофилов. Я попросил Камиллу поставить их в воду, думая, что это, быть может, немного нагло с моей стороны, но вместе с тем надеясь на её человечность (или остатки человечности³⁷). Она согласилась, и я сердечно благодарил эту суровую на вид молодую женщину со взглядом Афины, радуясь спасению столь значимого для меня предмета.

Каково же было моё разочарование, когда, выйдя из камеры, я обнаружил, что цветов больше нет.

³⁷ Она не дала мне повода сомневаться в их наличии.

– Простите, – сказала Камилла. – Должно быть уборщица от них избавилась. Вечно она так... Сгребаёт в мусорку всё подряд.

Я ничего на это не ответил, лишь спросил:

– Я могу идти?

– Да, конечно. Хотите подброшу?

– Нет уж, спасибо. Как-нибудь сам доберусь.

Мне вернули мои вещи (за исключением гипсофилов, разумеется), я накинул шарф, зашнуровал ботинки и вышел на улицу.

Накрапывал мелкий дождик. Серость неба глядела на меня со снисходительной жалостью и обещала не выпускать солнце в ближайшие часы. Я был очень уставшим, но вполне довольным. Воздух казался столь свежим и чистым, что не было большей радости, чем просто дышать – дышать жадно, полной грудью, до боли в сердце. Я даже решил немного пройтись, хотя собирался вызвать такси прямо к участку. Идти от центра города до кладбища – вряд ли я бы осилил такой путь.

Я не раскрывал зонта, держал его в руке, используя как трость, и двигался в сторону улицы Эллиотта Смита, стараясь сбросить с себя тягостные чувства, стереть их, как налипшую к подошвам грязь.

– Дайте дорогу! – услышал я за спиной бодрый выкрик и обернувшись через плечо, увидел двух мальчишек лет двадцати. Они тащили огромный кусок стекла и неслись с бешеной скоростью. Я едва успел сделать шаг в сторону, чтобы пропустить их. – Спасибо! – прокричал один из них, и они вмиг умчались прочь, скрывшись за поворотом.

Я вышел к улице Смита, вдоль которой тянулись цифровые деревья. Днём они вроде как украшали город³⁸ а ночью ещё и освещали дорогу. Но одно из них, видимо, вышло из строя. Мужчина в тёмно-синей форме, подключив к дереву планшет, старался привести всё в норму. Я достал из кармана телефон, вызвал такси. Ждать пришлось совсем недолго. Примерно через полминуты ко мне подъехал жёлтый «батлер» (марка местного производства). Где-то вдали раздался звон разбитого стекла, загружалось цифровое дерево, пахло булочками и кофе из кафе неподалёку. Я сел в машину и отправился на восточное кладбище.

Мимо проносились здания, как проносится мимо жизнь, пока ты думаешь, что занят чем-то очень важным³⁹. Серые и пёстрые, низкие и высокие, большие и маленькие, старые и новые. В каждом из них мне отчего-то виделось нечто большее, чем просто груда строительных материалов, собранных воедино в определённом порядке; мне виделись человеческие судьбы; всякий город есть сплетение этих самых судеб, не иначе, – судеб, отголоски которых видны и слышны повсюду. В каждом кирпиче таится трагедия, в каждом гвозде – нестерпимая боль. Шелест тростника поведаёт нам историю. Но все мы безымянный брадобрей, что слишком болтлив, и все мы Аполлон, что слишком горделив, мы – Мидас, что под тюрбаном прячет ослиные уши.

На пути возник музей готики. Волнение моё нарастало с каждой секундой, и не было ему предела.

Пару раз (а может и больше) я был готов изменить маршрут, уехать куда угодно, только не на встречу с прошлым. Но я сдерживал те порывы, зная, что это должно наконец случиться, что нельзя позволить себе повернуть назад.

Когда я вышел из машины и увидел хорошо знакомые мне ворота, искорёженные временем, мне стало чуточку легче. Когда я ступил на эту землю, пропитанную горечью люд-

³⁸ Им положено его украшать, правда, лично мне они никогда не нравились.

³⁹ И только в конце ты понимаешь, что всё напутал, принимая за важные совсем незначительные вещи.

ской доли, то вовсе почувствовал полное облегчение, какую-то пусть и постыдную, но всё-таки именно гармонию с этим предельно мрачным местом.

Дождь к тому моменту прекратился, но небо оставалось сплошь серым. Жирный ворон, что сидел на воротах, громко каркнул. Я снял шляпу, торжественно поклонился ему и лишь затем направился напрямик к Ванессе. Сквозь высокую траву, густые кустарники, чёрные, скрюченные деревья и разбитые надгробия. Я точно помнил, где находится её могила, словно бывал здесь каждый день.

В воздухе стоял запах мокрой травы⁴⁰. Ветер выл, расшатывая небо, которое на крыльях своих, кружа, поддерживал один маленький (и вместе с тем жирный), но очень храбрый ворон. Я жалел, что не забежал в какой-нибудь магазинчик и не взял себе бутылочку бурбона⁴¹. Правда, из-за всего со мной случившегося за последние двое суток мне стало казаться, будто я не доберусь до кладбища, если по пути загляну куда-нибудь ещё.

От ворот по тропинке прямо, минуя десять рядов, я шёл – и воспоминания всё более тяжким грузом валились на моё сердце, как бы словно не давая дойти: вынырнув из болота прошлого, дотянувшись до меня своими мёртвыми, жуткого вида руками, стремились они утащить моё усталое тело на дно. Я, однако, был упрям и продолжал идти, пусть с каждым шагом это становилось труднее и труднее. Я повернул налево и вдалеке увидел статую Ванессы в полный рост, обвитую паутиной ясеневых ветвей. Она казалась почти живой. Того и гляди помчится мне навстречу.

«Нет уж, – говорил я сам себе (и, наверное, ей), – я должен сам проделать весь путь до конца».

Я шёл быстрее, я спешил, будто мог не успеть, будто случится что-то страшное, если я не успею. Я небрежно накинул шляпу на голову, перехватил зонт в левую руку и хватаясь за выступающие ветви, высоко поднимая ноги, немного наклонившись, двигался в сторону Ванессы.

Статуя росла, стал виден постамент, на котором она стояла. И когда я смог прочитать цифры и слова, что были на нём вырезаны, я остановился, и позволил себе отдышаться.

15.02.1996 – 20.08.2020

Yurenagara ashi o ukase

Yurenagara sora ni mi o yosete

Прежде я видел эту статую лишь на фото. Скульптор, которому я её заказал, присылал мне снимки из своей студии. Вживую она смотрится куда лучше. Несмотря на то, что время, как всегда, не поскупилось на жестокость: повсюду возникли трещины, сколы, некоторые места заросли мхом. Но в этом было своё особое очарование.

Идея установить памятник Ванессе вместо обычного надгробия возникла у меня сама собой, как нечто предельно естественное, иначе будто бы и нельзя было. Многим, правда, это в ту пору не очень понравилось. Люди говорили, что я пытаюсь тем самым загладить чувство вины, иные судачили о моём высокомерии и желании продемонстрировать своё превосходство. Отцу Ванессы⁴² мой замысел, однако, пришёлся по душе⁴³, и мне этого было вполне достаточно, чтобы набраться решимости воплотить его в жизнь. Голоса всех прочих людей утратили силу, которой я сам же их наделил.

⁴⁰ Но я не могу доверять своим чувствам (учитывая всё произошедшее), они наверняка подводят меня. С чего бы вдруг на кладбище стоял запах мокрой травы?.. Хотя, с другой стороны, почему бы и нет?

⁴¹ Мне вдруг захотелось именно бурбона.

⁴² Старый добрый «Мистер Грин». Он теперь лежит где-то на северо-западе. Хороший был человек.

⁴³ О чём я случайно узнал от третьих лиц (не помню уже точно, от кого именно), ведь к тому времени Мистер Грин не хотел со мной видиться и разговаривать.

Воплощение идеи, замысла началось через год после смерти Ванессы и включало в себя, помимо прочего, множество дилемм, требующих решения. Сложнее всего пришлось с волосами.

«Какими они должны быть?» – спрашивал я себя в те дни.

В «золотой век» нашей любви у неё были длинные, до самых локтей, волосы. Когда мы расстались, она остригла их под каре. Я думал, будто в этом жесте есть некий символизм: прощание с прошлым, начало нового пути; но Ванесса всё отрицала, говорила, дескать, ей просто захотелось что-то в себе поменять, а волосы к переменам наиболее податливы. А я, помню, тогда ответил:

– Тебе так очень идёт. Ты не только стала ещё более прекрасной (хотя это, казалось, невозможно), но и обрела строгость безупречного стана античной богини⁴⁴.

Мне сие слова вспомнились также во время работы над скульптурой. Ведь кроме волос необходимо было определиться с общим замыслом. А кроме того, что это будет статуя во весь рост, я больше ничего не знал.

Мысль изобразить Ванессу в образе Артемиды, Афины или Гекаты – первая из многих – виделась мне вполне привлекательной лишь около двух часов, по истечении которых я от неё отказался, боясь, что это приведёт к утрате индивидуальности той, чей образ я стремился увековечить.

В дальнейшем самые разные идеи являлись мне во сне и наяву, и все их я отвергал как несоответствующие намеченным принципам, либо слишком сложные в плане реализации. К примеру, я видел кошмар. Ванесса, облачённая в чёрное платье, блуждающая во тьме, бредёт неизвестно куда. В ушах у неё наушники, она танцует. За ней мчится свирепый, кровожадный монстр. Его не видно – лишь красные глаза, сверкая, разбавляют мрак, да время от времени раздаётся страшный, наводящий ужас рык. Монстр этот следует за Ванессой, он хочет её убить. Я бегу за ней, пытаюсь предупредить. Но она не слышит и не замечает меня, и я отчего-то не могу её догнать. Кончается всё тем, что мы втроём набредаем на тупик. С неба дождём начинает литься пламя. Ванесса кружится в танце – и растворяется в том дожде.

Проснулся я со стойким ощущением того, что замысел для статуи стоит почерпнуть из этого сна.

Много часов я потратил, размышляя, как можно увязать увиденное во сне с образом Ванессы и изображением её в виде статуи. Часы те были потрачены впустую. Я сдался. И принялся искать иной источник вдохновения.

Я нашёл его в прошлом, в одном-единственном дне, в коротком мгновении, когда мы впервые встретились.

Так статуя обрела свой законченный вид. Она изображала Ванессу в том же чёрном платье, которое столь сильно нравилось нам обоим, с длинными волосами и в наушниках. Провода тянулись от её ушей к левой руке, в которой она сжимала коробочку МП-3 плеера. Один наушник она держала в правой руке и, обнажив ухо, как бы прислушивалась к тому, кто пришёл её навестить.

Я сидел подле статуи, но молчал и даже не смотрел на неё. Не потому, что мне было нечего сказать и не потому, что было больно её видеть. Просто я довольствовался тем, что чувствовал её, знал, что она рядом. В этом холодном, не знающем ни скорби, ни пощады, ни сочувствия камне, впитавшем, казалось, всё, чем я дорожил и чего был лишён, скрывалось чувство – очень яркое, живое, но вместе с тем и чужеродное, словно забравшееся в меня извне, как какой-нибудь червь или паразит. То было не счастье, нет. Свой шанс на счастье я давно

⁴⁴ А она мне, помню, на это сказала:– Признайся честно, ты этот пассаж придумал уже давно, – и глядела на меня так лукаво, с лёгкой, но доброй насмешкой, – и ждал подходящего случая, чтобы его использовать?– Так оно и было, – честно признался я, смеясь.– Слишком складно а то звучит, – заявила Ванесса.– Но красиво ведь?– Красиво, – согласилась она.

упустил; и не чувство радости или глубокого удовлетворения – до самого последнего вдоха я останусь печальным, мрачным, удручённым, подавленным; да и, наверное, даже не чувство это было вовсе, а скорее состояние. Прикоснувшись к статуе (а я к ней прикоснулся), я ощутил идеальную, предельно чистую Гармонию, к которой так долго и отчаянно стремился. В тот миг всё – во мне самом и окружающем меня мире – встало на свои места. Тревога и диссонанс, хаос⁴⁵ покинули меня. Я подумал:

«Ещё одна причина, по которой стоило прийти сюда гораздо раньше».

Я тяжело дышал и рассматривал следы, которые оставили на влажной земле мои ботинки. Длинный путь был проделан мною от дома – места, где я жил, существовал, мирился с необходимостью долго пребывать в бытии – до кладбища – места, где властвует Смерть. В пути этом мне стало видеться олицетворение моего движения по дороге Жизни, что начиналось с события крайне печального.

⁴⁵ Нечто противоположное гармонии.

Глава 4

Две тысячи седьмой год. Конец октября. Воскресное утро. Не слишком ранее, но тем не менее по-прежнему утро. Мне четырнадцать лет. Я только встал с постели и направился напрямик в ванную. Лохматый и взъерошенный, худощавый мальчишка в зелёной пижаме. Идя по коридору, я, как обычно, остановился возле двери отцовского кабинета и машинально постучал. Это был сигнал папе, что пора выходить. Каждое утро мы спускались вместе, чтобы позавтракать. Папа сам жарил нам оладьи. Если нужно было в школу – отвозил меня туда. Если нет – мы шли гулять по окрестностям. Разговаривали о всяком. По большей части говорил я. Он лишь задавал вопросы и понимающе кивал, поддакивал в нужных местах; либо аккуратно высказывал своё мнение, когда это требовалось, когда я спрашивал его, что он думает обо всём этом.

Но в то утро отец так и не вышел из кабинета. Я заметил (пусть и не сразу) на двери приклеенный скотчем лист бумаги. Там было написано: «Не открывай. Позвони Сё».

Сё – домашнее прозвище младшего брата моей мамы, с которым они не общались много лет и о существовании которого я на тот момент не знал. И без того, однако, записка та показала мне очень странной. Ведь я бы ни за что не вошёл в кабинет без спроса⁴⁶. Это было строго-настрого запрещено. Ну а то, что записка может предназначаться маме мне поначалу и в голову не пришло⁴⁷.

Я направился дальше, в ванную, надеясь, что, когда я выйду оттуда, отец как раз покончит с делами, выйдет из кабинета и мы вместе пойдём завтракать, как это с давних пор и было у нас заведено.

Он просыпался в пять утра каждый день, шёл в кабинет и работал над книгой до моего пробуждения. Когда я стучал в дверь – это был знак для него, что пора сделать перерыв. Он немедленно вставал из-за стола и шёл навстречу этому стуку, даже если он обрывал его на полуслове. Отец никогда не задерживался, не заставлял меня ждать. Для него было важно предельно точно следовать всем ритуалам и условностям что составляли основу его жизни, помогали поддерживать порядок и дисциплину. Поэтому казалось столь странным, что он не выходил и никак не отвечал на стук.

Выйдя из ванной, я натолкнулся на горькое, с привкусом тревоги разочарование: отец так и не вышел, дверь оставалась закрытой и на ней по-прежнему висела та записка.

«Надо позвать маму», – пронеслось у меня в голове само собой.

Я спускался по ступенькам, а доселе неведомое, пугающее чувство, или правильней будет сказать предчувствие – предчувствие чего-то недоброго, лишь нарастало. Оно казалось мрачной тенью, демоном, воплощением зла, следующим за мной. С каждым моим шагом это существо становилось могущественнее. Я боялся обернуться – будто тем самым одарю его ещё большей силой – ведь то, что зримо – то обретает форму; незримое же остаётся тенью. Но я не знал и не понимал тогда главного: мрачная тень, которой я так боялся, была на самом деле частью меня самого, рождённой в тот момент.

Мама просыпалась обычно около семи утра. До полудня она занималась в своей изостудии, расположенной в подвале. Чаще всего писала портреты. Причём на них всегда запечатлевалась образ одного человека – того, кто приходился ей мужем, а мне отцом. Этих портретов было очень много. В юности мне казалось, что так мама стремилась утолить тоску по тому,

⁴⁶ И это было главным в записке. Про звонок какому-то там Сё я тут же напрочь забыл, словно и не шло о том никакой речи.

⁴⁷ С другой стороны, отец должен был понимать, что первым эту записку, скорее всего, увижу именно я, а не мама. Хотя, может, на то и был расчёт. Но тогда стоило, наверное, написать что-нибудь другое. Возможно, он об этом в тот момент просто не подумал или забыл.

кого любила столь сильно, ведь отец (её муж) вечно пропадал в кабинете, а когда выходил оттуда, всё равно будто находился где-то очень далеко, но с годами моё мнение относительно природы маминой одержимости («одержимость» тут вполне подходящее слово) изображением образа мужа во всех его ипостасях изменилось. Теперь я считаю, что на самом деле то был такой её своеобразный способ (наиболее для неё доступный и единственно верный) по-настоящему понять этого человека⁴⁸, бывшего для неё самым близким, самым дорогим на свете, проникнуть в потаённые⁴⁹ уголки его души⁵⁰, развеять мрак неизвестности. В том заключалась не только главная цель её существования, но и величайшая его трагедия⁵¹: мама изо всех сил стремилась постичь таинство истинной сущности своего возлюбленного, поскольку её требовалось такое стремление. Она хранила в себе предельно чистое, прекрасное чувство неподдельной любви, которое было больше её самой и важнее, чем что-либо, однако, даже это не позволяло ей добиться желаемого.

А хуже всего, на мой взгляд, то, что у меня никогда с этим не возникало проблем, мне не нужно было прикладывать тех усилий, которые прикладывала мама. Она это видела, она это понимала, и это её злило, это её раздражало.

Не знаю, почему так вышло⁵², но я оказался единственным человеком, способным по-настоящему понять отца⁵³.

Я отлично помню те времена⁵⁴, помню, каким я был, каким представлялся мне мир вокруг, какими были люди. Многое тогда находилось за пределами моего понимания⁵⁵, ⁵⁶, а сам я нередко пребывал в состоянии, которое у меня не получалось ни осмыслить, ни понять, ни объяснить (в первую очередь себе); но отца я понимал прекрасно и не замечал вокруг него никакого ореола тайны, никакой загадки.

А вот у остальных, судя по всему, с этим были некоторые проблемы.

Судить приходилось, главным образом, по лицам. Они – порой знакомые, порой нет – возникали у нас дома время от времени, встречались нам на пути во время наших с отцом утренних прогулок. И лица эти всякий раз выражали недоумение. Едва уловимое, однако, вместе с тем столь отчётливое, что оно навеки сохранилось в моей памяти. Хотя, быть может, выражение это так хорошо мне запомнилось потому, что редко удаётся лицезреть на лицах совершенно разных людей одно и то же выражение, одну и ту же эмоцию, при том не общую, вроде радости или грусти, а весьма специфичную, обладающую особым оттенком. Будучи ребёнком, я не мог разобраться, не мог уяснить ту эмоцию на лицах всех этих людей, я не мог её распознать и верно трактовать. Я лишь начинал чувствовать то же самое. Эта эмоция, подобно мно-

⁴⁸ Хотя, одно объяснение в данном случае не исключает другое.

⁴⁹ Многое там действительно было покрыто тайной.

⁵⁰ Души?

⁵¹ Ибо цель была недостижима.

⁵² Я пытался в этом разобраться, как-то себе это объяснить, но у меня ничего не вышло.

⁵³ Его самоубийство, однако, указывает на то, что в действительности я был лишь одним из тех, кто тешил себя иллюзией на этот счёт. Но, возможно, ошибочно смотреть на это именно так: что одно привело к другому; наверняка всё несколько сложнее. К тому же, как бы там ни было, я всегда чувствовал с ним особую связь (равно как и с мамой – родители были для меня самыми важными, самыми близкими людьми в ту пору, что, как ни парадоксально, наверное, случается у людей в таком возрасте далеко не всегда – но каждая из этих связей была особой по-своему), и мне хочется верить, что я был прав, что я не ошибся в своих чувствах. Что, впрочем, и значит, пожалуй, тешить себя иллюзиями.

⁵⁴ Лучше, чем мне бы того хотелось.

⁵⁵ Что сейчас кажется мне предельно естественным (ведь разве может быть иначе, когда тебе четырнадцать лет?), а в ту пору казалось чем-то таким, что придавало смысла каждому прожитому дню и пробуждало во мне желание двигаться вперёд, куда-то туда, дальше, за пределы всего видимого, а не чем-то, что приводило бы меня в замешательство, сбивало бы с толку (хотя случалось порой и такое; но с этим мне помогал справиться отец как раз во время наших с ним прогулок (опережая тем самым мою мать), коих было, впрочем, не так и много, пожалуй, как я об этом вспоминаю)).

⁵⁶ И осталось там по сей день. Это то небольшое, что я усвоил в жизни: ничего никогда, в сущности, не меняется. Всё остаётся прежним.

гим другим эмоциям, была заразна. Она проникала куда-то очень глубоко, заставляя меня чувствовать себя как-то неправильно, словно во мне завёлся некий паразит и доставлял мне теперь жутчайшее беспокойство. Став взрослым, я осознал: люди просто недоумевали. Отец вызывал у них совершенно неведомые, с большим трудом поддающиеся объяснению и осмыслению чувства. Он был приветливым, вежливым, учтивым, приятным в общении человеком, по-своему обаятельным, умел поддержать любую беседу, но вместе с тем что-то незримое скрывалось глубоко в нём, что-то такое, что вызывало в людях ту эмоцию, которая мне так запомнилась, что-то зловещее и дурное, что-то, о чём не подозревал даже он сам. Для окружающих это было более заметно. Оно как туча висело над его головой, как проказа и проклятие. В конце концов, мне кажется, это именно то, что его достало и, поглотив окончательно, бросило в объятия смерти. Иного объяснения у меня нет. И тем утром, когда мама, несмотря на запрет, указанный в записке, открыла дверь, ведущую в кабинет отца, и вошла туда, она узрела не что-то шокирующее, она узрела бескомпромиссную, болезненную, стойкую, пугающую закономерность, в которой, кажется, сама суть человеческого существования. И поэтому она не закричала и не заплакала, не проронила ни единой слезинки⁵⁷ – лишь застыла на месте, уставившись в одну точку⁵⁸. Её мир оказался вмиг разрушен, и ей предстояло это принять, осознать, осмыслить⁵⁹, ⁶⁰.

А ведь ещё утром всё было прекрасно. Во всяком случае, не столь трагично уж точно. Да и накануне вечером тоже. И днём ранее. И за неделю до этого. Ничто, как говорят в таких случаях, не предвещало беды⁶¹. Но беда тем не менее случилась, она грозно обрушилась на нас, обещая сломить, уничтожить, извратить прежний порядок, ход вещей⁶².

И все те лица, что встречались мне на пути, столь похожие друг на друга, вдруг исчезли. Осталось только лицо матери – лицо, которое запомнилось мне лучше всех прочих, которое выделялось на их фоне – выделялось тем, что оно не выражало никаких эмоций, оно было мертвее, чем лицо отца, чьё тело болталось в петле.

Я стоял у лестницы, смотрел на маму⁶³ и терпеливо ждал, пока мама примет какое-то решение и скажет, что мы будем делать дальше. Я понимал, что случилось что-то очень плохое, но не знал, что именно. Я, разумеется, догадывался, однако, стремился отогнать от себя все эти мысли, зарыть их поглубже, избавиться от них – стремился столь сильно, будто мог тем самым всё изменить, исправить; стремился столь сильно, что слова, произнесённые наконец мамой, не сразу достигли моего разума⁶⁴.

– Сходи, пожалуйста, вниз, – медленно и с нажимом произнесла она (видимо, во второй, третий или бог знает какой раз⁶⁵), наклонившись слегка в мою сторону, опустив (таки) левую руку⁶⁶, – и принеси мне... – голос её слегка⁶⁷ дрожал⁶⁸ и отчего-то был полон усталости, но не трагизма.

⁵⁷ По крайней мере не в тот день.

⁵⁸ Понятно в какую.

⁵⁹ Возможно ли это вообще? Ибо если твой мир разрушен, значит, разрушен и ты сам, как часть этого мира. Выходит, нечего и осознавать, принимать. Точнее, некому. Это конец.

⁶⁰ Всё же неспроста на двери висела та предупреждающая записка. Отец понимал, к чему это приведёт, если мама увидит его таким. Но записка не смогла уберечь её.

⁶¹ Случается ли в жизни так, что нечто действительно предвещает беду? И если да, то что это может быть?

⁶² И сдержав своё обещание.

⁶³ Которая стояла словно у разверзнувшейся пропасти. Правой рукой она держалась за ручку открытой двери (как если бы это было единственным, что сдерживало её от падения в бездну), а левую вытянула в сторону, раскрыв ладонь, как бы преграждая мне путь, ограждая меня от той жуткой картины, что предстала перед ней.

⁶⁴ Прошла вечность или мгновение – тут никогда нельзя сказать наверняка.

⁶⁵ Но скорее всего всё же лишь во второй. Иначе она была бы очень зла.

⁶⁶ Преграда пала, я мог теперь взглянуть на то, от чего она меня оберегала, но не стал.

⁶⁷ Только лишь слегка.

⁶⁸ Я видел в её глазах (точнее вижу сейчас, когда гляжу на неё сквозь пелену воспоминаний) разочарование от того, что

Несмотря на то, что маме пришлось повторять свою просьбу, она всё никак не могла определиться, что же я должен ей принести. Она молчала, нахмутив брови, закусив губу, смотрела куда-то в сторону, продолжая сжимать дверную ручку.

– Так что принести, мам? – уточнил я.

В ответ она посмотрела на меня так, будто я незнакомец, которого она видит впервые. И я впервые в жизни почувствовал, как по спине у меня пробежали мурашки⁶⁹.

– Нет-нет, ничего не нужно, – сказала она, зажмурившись и съёжившись на мгновение⁷⁰. – Иди в свою комнату, побудь там немного.

– Зачем?

– Затем, что... – и конечно она вновь умолкла, ибо ей потребовалось время, чтобы подобрать правильные слова и всё объяснить. Мама не знала, как это сделать, а я, на её беду, был слишком глуп и не мог понять, что стоило бы все вопросы отложить на потом.

Я не помню сказанного ею после⁷¹, но помню, что через некоторое время⁷² я сидел в своей комнате с закрытой дверью, уставившись в *Пустоту*. И тогда я впервые в жизни ощутил явное присутствие *Пустоты* как явления и субстанции⁷³, осознал⁷⁴ степень её могущества⁷⁵, узрел собственное перед ней бессилие.

А где-то в доме тем временем мама набирала номер, который при любых других обстоятельствах она ни за что и никогда бы не набрала.

Дальше всё развивалось как-то (слишком) стремительно, сумбурно и безотносительно моей личности⁷⁶. Я будто бы перестал (едва успев начать) быть частью того мира, того дома, той семьи. Как если бы это я умер, а не отец. Даже мне самому в какой-то момент стало проще поверить в собственную смерть, нежели в смерть отца. Я стоял в гостиной⁷⁷, где собрались все люди⁷⁸, чуть поодаль от гудящей толпы, возле окна, сквозь которое открывался вид на уютный и омерзительный в своём благополучии безупречный район^{79, 80}, где никогда ничего

даже собственный голос перестал ей быть подвластен.

⁶⁹ И я чувствую это даже сейчас, когда вспоминаю об этом, хотя прошло уже много лет.

⁷⁰ Или на вечность. Тут никогда нельзя сказать наверняка.

⁷¹ Единственное, что мне запомнилось (да и то очень смутно, настолько смутно, что я как-то даже не слишком доверяю этому воспоминанию), это её (отчаянная) просьба найти себе какое-нибудь занятие, пока она пытается со всем разобраться.

⁷² Вечность или мгновение. Тут никогда нельзя сказать наверняка.

⁷³ А это, без сомнения, и явление, и субстанция.

⁷⁴ Начал осознавать.

⁷⁵ Ибо *Пустота* вечно желает быть заполненной.

⁷⁶ Что, если подумать, вполне логично, понятно, естественно, ожидаемо и правильно.

⁷⁷ Предварительно сменив свою пижаму на более приличный наряд (: кажется, это были чёрные брюки и тёмно-серая рубашка).

⁷⁸ Они все отчего-то лишь отдалённо напоминали мне людей. Нет, в них не было чего-то необычного. Но... не знаю... Я и себе самого не могу этого объяснить. Вероятно, дело в том, что я в тот миг (обратившийся вечностью) остро ощутил чужеродность собственной фигуры и личности (то есть я не должен был находиться там ни физически, ни на каком-либо другом уровне). А раз так, то выходит, это, по всей видимости, я (не они) утратил человеческий облик (что звучит зловеще, но в данном случае имеется нечто совсем другое, нечто скорее печальное, нежели наводящее ужас, внушающее страх).

⁷⁹ На что я прежде никогда не обращал внимания, и омерзения во мне это, соответственно, не вызывало.

⁸⁰ И окружающий (составлявший) его пейзаж вдруг стал отдаляться (по крайней мере, так мне показалось, так мне виделось). Всё (кроме кусочка неба) – молодые деревья с тонкими ветвями и скромные соседские дома, серость асфальта и бездушные машины, которые без конца мучили эту самую серость (и наверняка мучают её до сих пор, пока я, уже будучи стариком, стою на кладбище, предаваясь воспоминаниям), случайные прохожие, для которых ничего не изменилось. Такой странный эффект, неведомо откуда взявшийся, неведомо почему возникший (хотя, если подумать, то очень даже ведомо), заставил меня отвернуться от окна, чтобы столкнуться со своим одиночеством, своей чужеродностью, глубже в них погрузиться.

не происходит⁸¹, я стоял там, никем незамеченный и всеми покинутый, и пытался вернуть себя утраченное ощущение жизненности⁸².

И вновь возникли повсюду лица. Как всегда, были среди них знакомые и незнакомые⁸³. Они явились из ниоткуда, чтобы выразить свою скорбь, но выходило так, что выражали они исключительно всё то же недоумение (оно запечатлелось на них навеки, оно сковало их, застыло на них, как маска, и они перестали быть собой, они забыли, кто они есть на самом деле), которое возникало на них (которое я замечал) каждый раз, когда им приходилось сталкиваться с моим отцом.

Я так и не узнал, почему мама не хотела звонить своему младшему брату и почему (и когда) решила с ним не разговаривать⁸⁴ (а также, почему отец велел в своей записке позвонить именно ему⁸⁵), однако, в конце концов, важно лишь то, что она это всё же сделала. Хотя могла позвонить вместо этого кому-нибудь другому⁸⁷, либо не звонить вовсе, ибо в том не было более нужды, так как послание гласило: «Не открывай. Позвони Сё». И раз первая часть послания оказалась ею нарушена (практически без колебаний), следовательно, можно⁸⁸ нарушить и вторую часть.

Но нет. Отчего-то⁸⁹ она пошла и позвонила своему брату⁹⁰. Он приехал. Мне неизвестно, пришлось ли его уговаривать или он согласился сразу? А если пришлось, то, как долго? Да и вообще, с чего мама начала этот разговор? Каким образом преподнесла эту новость, как оправдала своё прерванное молчание? То есть, повод у неё, конечно, был, причём очень даже веский; однако, перешла ли она сразу к делу? Или, может, ей пришлось перебраться парой ничего незначащих фраз? Получилось ли у неё это? И если да, то насколько хорошо? (Сплошные вопросы без ответов.)

Я ничего не знал об этом, и так уж вышло, что не знаю до сих пор, а значит, не узнаю никогда. Я даже не помню совсем⁹¹ появления дяди в тот день. Каким-то образом он остался для меня незамеченным. Быть может, та суэта, та возникшая суматоха тому виной. Да только вот она столь же внезапно и довольно быстро оборвалась⁹², сменившись всеобщей⁹³ скорбью.

Тело отца сняли с петли (вероятно, этим как раз занимался дядя Сё, каким-то удивительным образом оставшийся для меня незамеченным), привели в порядок (этим, смею предположить, занимались специалисты соответствующего профиля), уложили в гроб и выставили в гостиную для церемонии прощания.

⁸¹ Только разве что тихие и внезапные беспричинные самоубийства в тёмных и мрачных кабинетах.

⁸² То есть способности быть (по-настоящему) живым.

⁸³ А ещё были малознакомые и те, что стёрлись нынче из моей памяти, превратились в унылые, смазанные пятна, в которых ничего нельзя разглядеть.

⁸⁴ Я могу лишь догадываться.

⁸⁵ Предположения самого дяди Сё являлись исключительно предположениями – причём, предположениями, содержащими в своей основе, как мне кажется, исключительно его довольно внушительное эго. Что, однако, не говорит о том, что предположения дяди Сё не верны. Это говорит лишь о том, что относиться к ним нужно чуть более осторожно, чем ко всем прочим предположениям.

⁸⁶ Если попытаться рассуждать логически (а это будет далеко не первая моя подобная попытка), то можно заключить следующее: мой отец доверял дяде Сё (либо, как предполагал сам дядя, он был для него тем единственным человеком, чьи чувства отец решался не беречь; хотя одно в данном случае не исключает другое).

⁸⁷ Своему отцу, к примеру, с которым дядя Сё жил в то время в одном доме (правильней будет сказать, что время от времени он жил там постоянно, то уходя, то возвращаясь).

⁸⁸ Или скорее даже нужно.

⁸⁹ Объяснить мотивы и причины собственных поступков подчас бывает сложно. А уж чужих и подавно!

⁹⁰ Наверняка сама не сознавая что делает.

⁹¹ А такое бывает крайне редко.

⁹² Да, практически, как человеческая жизнь.

⁹³ Именно так это мною воспринималось: как скорбь всеобщая, скорбь всего мира, и не могло быть иначе для меня.

Попрощаться, как мне помнится, решил только я. Хотя, «решил», быть может, не совсем верное здесь слово. Ведь я очутился у гроба словно бы сам по себе, словно неведомая сила (стихия, почти как ветер!) помогла мне очутиться у гроба⁹⁴. А потом тут же меня покинула⁹⁵. И я сидел там на маленьком, жёстком табурете⁹⁶, одинокий, растерянный, всеми покинутый. Я силился понять, что мне нужно делать и зачем я сижу возле мёртвого отца. Я не мог понять что значит «попрощаться» с ним, поскольку, несмотря на очевидный факт, который невозможно было оспорить⁹⁷, я не мог избавиться от ощущения⁹⁸, что наутро всё будет, как прежде, что, постучавшись в дверь его кабинета, я услышу столь знакомые шаги⁹⁹, а спустившись в кухню, увижу, как он стоит возле плиты и напевает себе под нос «Nowhere Fast».

Это ощущение напрочь и вмиг исчезло, когда гроб с телом отца стали засыпать землёй¹⁰⁰. И тогда истина открылась мне: ничего больше не будет как раньше. Отныне жизнь моя изменится навсегда.

⁹⁴ Сам я наверняка сидел бы где-нибудь в углу, безучастно наблюдая за происходящим, пытаюсь его осмыслить, но не принять в нём участия. Выходит, неудивительно, что всё развивалось именно так, как получилось, а не иначе.

⁹⁵ Видимо, в этом было её предназначение: в том, чтобы помочь мне там очутиться, но не более того.

⁹⁶ Этот табурет стал островком, отделяющим меня от всех остальных. Никто больше не сидел, все стояли; никто не подходил ни ко мне, ни к отцу, все были «где-то там»; и их голоса – единственное, что осталось от их присутствия – звучные, громкие, полные жизни, лишённые хотя бы намёка на скорбь и почтение, они заставляли меня почувствовать себя маленьким (скорее даже крошечным), незначительным, совершенно ничтожным, они вызвали во мне два противоречивых желания: встать и уйти и навеки остаться на том табурете.

⁹⁷ А я был бы рад, будь у меня такая возможность.

⁹⁸ Строго говоря, это было не ощущение, это было чем-то большим, чем просто ощущением, потому что «ощущение» – это что-то смутное, что-то, что едва можешь ухватить, понять, осознать. А это была скорее убеждённость. Непреложная убеждённость, от которой невозможно отделаться, которую невозможно отрицать (а если и можно, то с большим трудом).

⁹⁹ После смерти отца мне стало казаться, что в его шагах было нечто особенное, что я бы узнал его шаги из сотен прочих, сумел бы отличить их при любых обстоятельствах. И это было правдой, и в то же время нет.

¹⁰⁰ И стоит мне только начать вспоминать об этом, как в тот же миг я начинаю слышать эти звуки – стук влажной чёрной земли о крышку деревянного гроба. Через этот стук будто сама смерть говорит со мной сквозь годы: скоро (очень скоро) придёт и мой черёд (а я и рад; скорее бы!).

Глава 5

Каждый человек переживает утрату по-своему. Кто-то всецело отдаётся горю, кто-то бежит от него сломя голову, а кто-то его отрицает, делая вид, будто всё в порядке. Общим для всех оказывается, таким образом, лишь одно обстоятельство, один непреложный факт, один закон: со временем становится легче. Боль утихает, притупляется. Да, она никуда не уходит, она остаётся навсегда, принимая иные формы. Однако всё возвращается на круги своя, мир вновь становится прежним, жизнь идёт дальше своим чередом.

Только вот у мамы было иначе.

В первые дни после смерти отца она выглядела отстранённой. Будто какую-то её часть, предельно важную, отец забрал с собой. Лишившись этой части, она перестала рисовать, а дни проводила сидя в кресле у телевизора. Смотрела всё подряд, вплоть до самой паршивой рекламы и низкопробной мыльной оперы. Изредка прерывалась лишь для того, чтобы помыть посуду. Остальные домашние дела она забросила, но посуду мыла всегда. У меня складывалось впечатление, что и ест она исключительно для того, чтобы потом можно было помыть посуду. Порой я заставлял её среди ночи за этим занятиям. Вполне допускаю, что она вообще не спала, либо спала очень и очень мало. Дальше стало ещё хуже.

То была январская ночь две тысячи восьмого года. Предельно мрачная, тёмная и холодная, как и положено всякой зимней ночи. Я крепко спал, не видя снов; а потом меня разбудил истошный крик¹⁰¹. Я открыл глаза – и сердце моё рухнуло куда-то в беспросветный мрак, из которого я был рождён, выброшен в этот мир. Тяжесть бытия обрушилась на меня¹⁰², приковав к кровати моё тело на некоторое время. Крик прозвучал вновь. Я оцепенел от ужаса. Крик раздался ещё раз, и тогда я вскочил с кровати, ступив на пол, который показался мне в ту секунду необычайно холодным.

Стоя у двери, лишь едва-едва приоткрыв её, я прислушивался к тому, что творилось за пределами комнаты, всматривался в темноту сквозь тонкую полоску пространства, ведущего будто бы не в коридор, а в совершенно другой мир, незнакомый, неведомый, от которого меня отделяла целая вечность¹⁰³ (-бесконечность).

Моё сердце перестало быть частью меня, перестало мне подчиняться, оно против меня восстало, воспротивилось мне, стало существовать отдельно, обретя собственное место в виде того глубочайшего мрака, из которого я явился, из которого явились мы все. Оно, тем не менее, продолжало говорить со мной¹⁰⁴, оно (в тот миг) стучало так быстро, что мне казалось, словно и нет ничего, кроме этого стука. А потом вновь раздался тот же самый жуткий крик¹⁰⁵, ¹⁰⁶. Но на сей раз его звучание подействовало на меня по-иному. Я не впал в ступор, я двинулся вперёд, навстречу этому крику.

¹⁰¹ Жуткий вопль, который пронзал сердце, пронзал душу (?) до самых тёмных, непроницаемых, мрачных глубин, о существовании которых до таких моментов как-то даже и не догадываешься, не задумываешься. И в то же самое время это наверняка был вопль прямоиком из таких вон глубин, вопль полный беспросветного одиночества и боли; это была сама боль – дикая, нестерпимая – вырвавшаяся наружу.

¹⁰² Её я ощутил более явственно, чем когда-либо прежде.

¹⁰³ Или целое (!) мгновение: тут никогда нельзя сказать наверняка.

¹⁰⁴ Да и к тому же, молчание – это тоже форма общения.

¹⁰⁵ Как ответ, как напоминание о том, что по-прежнему оставалось в мире нечто, кроме биения моего сердца. Но вряд ли я мог этому обрадоваться.

¹⁰⁶ Он был в точности похож на предыдущий, будто воспроизведён механически (хотя это было не так). Ни один из них не отличался от другого ни по громкости, ни по интонации, ни по какому-либо иному параметру, который только можно придумать, представить.

Босая нога робко ступила за пределы комнаты – и вот я уже шагнул по коридору. На стене слабо горел один светильник¹⁰⁷. Остальные¹⁰⁸ удручённо вторили тьме. Я не был привычен к тому, чтобы ходить по дому в столь поздний час, из-за этого он мне представился каким-то чужим. Ничего не изменилось, всё те же стены, потолок и двери, та же лестница и её ступени, перила, те же окна, занавески, паркет, фотографии, картины, ковры. Всё то же самое, что и всегда. Хорошо знакомый интерьер. Но что-то примешалось к нему с приходом ночи. И это место сделалось иным.

С людьми тоже такое бывает. Встречаешь человека, говоришь с ним, думаешь, что смог узнать его в полной мере, проникнуть в глубины недоступные всем прочим; а потом, так сказать, «наступает ночь»; она приносит с собой печальные перемены¹⁰⁹. И ты ощущаешь себя в холоде одиночества и отчуждённости¹¹⁰.

Одoleваемый подобными вот чувствами я спускался по лестнице на первый этаж, откуда, как мне показалось, и доносились жуткие крики. Я заглянул в гостиную и в кухню. Понял, что там не происходит ничего странного или пугающего. Оставался только подвал, в котором располагалась мамина студия. Я подошёл к двери, схватился за ручку. В тот же миг раздался очередной крик (и я убедился, что доносится он именно оттуда). Это заставило меня несколько поколебаться. Я стоял и стоял у двери, не решаясь войти. Затем я сказал себе: «Да давай уже! Иди! Ты взрослый. Ты ничего не боишься». Я поверил своим собственным словам, распахнул дверь и зашагал по ступеням. Свет был включен. Чувствовалось чьё-то присутствие. Это была мама. Я увидел её. Она стояла у одной из стен, где висели её картины. Портреты отца. Мама глядела на них пустым взглядом¹¹¹. На меня не обращала никакого внимания¹¹². Вдруг она закричала на портрет. Кричала так, будто пыталась высвободить боль, перебросить её на портрет и навсегда запереть там. Волосы у меня встали дыбом¹¹³. Из глаз сами собой потекли слёзы.

– Мам, – тихо позвал я её.

Она не откликнулась. Тогда я позвал чуть громче. И вновь никакого ответа. Тогда я подошёл к ней, приобнял, уткнувшись в бок, и сказал:

– Мам, пойдём, пожалуйста. Уже очень поздно. Я хочу спать.

– Почему же ты не спишь? – спросила мама хриплым голосом, положив руку мне на голову. Она как-то отстранённо гладила меня по голове. Её не удивило и не смутило моё присутствие.

– Я слышал крики, – ответил я. – Мне стало страшно.

– Больше не приходи сюда. Что бы ты ни услышал – оставайся в своей постели, – повелела мама.

И я повиновался. По ночам вообще не выходил из комнаты. Даже если снизу раздавались крики. А раздавались они всё чаще и чаще, становились всё безумнее и безумнее. Они перестали меня пугать, но будто въевшись под кожу, вызвали раздражение, сводили с ума, как назойливые насекомые, пробуждали желание терзать собственную плоть, лишь бы избавиться себя от этого. Именно тогда я стал до крови кусать свои пальцы – в основном большой и указательный – от этого мне становилось легче, тревога на душе утихала. Позднее это вошло в

¹⁰⁷ И от него едва был хоть какой-то толк.

¹⁰⁸ А их было несколько.

¹⁰⁹ Или какие-то иные, но всегда перемены.

¹¹⁰ Который наступает с приходом ночи. Ведь солнце уходит, горят лишь звёзды и луна своим мёртвым светом.

¹¹¹ И вместе с тем это был взгляд, способный проникнуть куда угодно, добраться до самой сути. И каким-то образом я сразу смог понять (или скорее почувствовать), что именно этого мама и стремиться достичь: добраться до самой сути: ибо суть скрывалась в одном из этих портретов (а может быть в каждом из них понемногу).

¹¹² Хотя моё присутствие к тому моменту было очевидно.

¹¹³ Ну или так мне, по крайней мере, показалось.

привычку¹¹⁴. Крик же превратился для меня со временем в нечто большее, чем просто крик. В нём мне слышалось не только эхо самых глубинных человеческих страданий. В нём я узнавал самого себя. И это было мучительно.

Я поделился своей болью с Робертом¹¹⁵ – моим лучшим и единственным другом на тот момент¹¹⁶. После моего двухнедельного отсутствия в школе он не скрывал радости вновь увидеть меня, поговорить со мной. Я рассказал ему о похоронах и о том, как впоследствии стала вести себя мать. А он рассказал о том, что происходило в школе в моё отсутствие,

– Наушниками не пробовал пользоваться? – спросил меня Роберт, выслушав мой рассказ. Была перемена. Мы шли по коридору из одного кабинета в другой.

– Наушниками?.. – задумался я.

– Ну да, наушниками. Включил музыку – и лежишь балдеешь. Никаких тебе криков, ничего такого.

– Хм... Здорово, конечно. Только вот нет у меня ни наушников, ни плеера.

– Тогда после уроков идём ко мне.

Мы с Робертом жили на одной улице, но в разных её концах. Он вместе с отцом, матерью и двумя старшими сёстрами занимал восемьдесят восьмой дом. Ну а я с мамой обитал в пятом. Их дом являл собой единство противоположностей: снаружи это был уютный, симпатичный коттедж с голубой крышей и отделкой из белого мрамора. Чистота его, строгость и отсутствие излишеств манили подобно пению сирен. Они пробуждали в сердце непреодолимое желание поскорее войти внутрь, дабы окунуться в тот уют, что создавало столь удачное сочетание прекрасных в своей простоте элементов. Однако, почти так же, как и в случае с теми же сиренами, это сладкое обещание было ложью. И оказавшись внутри, видя просторные (слишком просторные), полупустые, холодные, почти музейные комнаты, в которых нарочитое и не особо удачное стремление к совершенству, с порога тебя встречающее, пронзало острым копьём разочарования. Тем не менее, мне там нравилось. Я неоднократно гостил у Роберта. Его родители относились ко мне доброжелательно, считая, что я положительно влияю на их сына. Сёстры оставались в целом¹¹⁷ более-менее¹¹⁸ безразличны, но это было лучшее, на что я мог рассчитывать¹¹⁹.

¹¹⁴ И пальцы мои потому часто были обмотаны пластырями.

¹¹⁵ Хотя решиться на такое было непросто.

¹¹⁶ Даже несмотря на это.

¹¹⁷ Но не в частности.

¹¹⁸ Но не всецело.

¹¹⁹ Я мельком видел их, проходя мимо спален, двери которых всегда были распахнуты настежь (так у них, видимо, было заведено). Они сидели порой вместе, порой раздельно, каждая в своей спальне. Они о чём-то шептались, хихикали и улыбались (если сидели вместе), они занимались своими делами (если сидели раздельно). Рисовали, читали книжки и журналы (я так никогда и не узнаю, что они рисовали и что за книжки читали; и мне от этого почему-то мучительно больно). Их каштановые волосы были заплетены в косы, их тела были прикрыты лёгкими летними (они носили их круглый год) сарафанами (когда я вспоминаю об этом, то мне видятся голубые, бледно-жёлтые и розовые оттенки; но может быть это лишь игра моего воображения? Может быть, цвета были совсем иными?). Они смотрели на меня удивлённым (нет, скорее даже ошеломлённым) взглядом, а я смотрел, надо полагать, смущённо, растеряно. Я едва бросал на них свой взгляд (но и этого оказывалось достаточно) – и в сердце тут же разгорался пожар... нет, не так, это был не пожар. В сердце вспыхивала искра, будто принесённая с самого Олимпа, добытая из кузницы Гефеста. И в такие моменты, когда я видел их, сестёр Роберта, этих Гесперид Ребеллиона, непомнящих себя, я дивился тому, что искра эта очутилась в моём сердце. Дивился, однако, понимал: такое вполне возможно, в этом нет ничего непостижимого, поразительного и – как бы мне ни хотелось избежать этого слова (но тут я оказываюсь бессилён, так что...) – странного. Ибо сердце моё (я был убеждён – особенно в подобные моменты) мне не принадлежало. А вспыхивала та искра, поскольку впервые в жизни открывалась мне Великая Тайна Мира Женщин. И эта Тайна звала меня на поиски. И я знал, что не сумею слишком долго противиться этому зову.

Наш дом под номером пять нравился мне куда больше. Тёмно-серый, из деревянных панелей, с высокой крышей, от которой слегка веяло готикой. Прямо совсем чуть-чуть. Ровно настолько, чтобы можно было подметить это сходство, усмехнуться ему, пойти дальше и забыть о нём.

В тот день, как и во все прочие, покинув школьный двор через огромные железные ворота, отличавшиеся от кладбищенских разве что цветом¹²⁰, мы с Робертом двигались по асфальтированной прямой и узкой дороге, усеянной пробоинами, словно прыщами лица подростка. Пройдя мимо пары магазинов, а также мимо трёх автобусных остановок, на каждой из которых толпилась кучка угрюмых и бесконечно усталых людей, чьи лица казались мне одинаковыми, мы вышли к улице, где, собственно, и располагались наши дома. Обычно здесь мы прощались. Прощались долго, не в силах прервать беседу, топтались на пути у озлобленных прохожих, что вечно куда-то спешили; в этой спешке они на одно короткое мгновение неожиданно для самих себя вязли в словах двух подростков, рассуждающих о литературе, истории, искусстве, спорящих о том, какой шахматный дебют наиболее эффективен при игре за чёрных¹²¹; слова те врезались в них, сбивали с толку, напоминали им о том, кто они есть на самом деле, избавляли их от злобы. Только длилось это лишь мгновение. И затем снова возвращалось на круги своя. Ибо иначе в нашем мире быть не может.

Но в тот раз мы с Робертом никому не мешали, никого не сбивали с толку и не нарушали привычный ход вещей, так как нам не было нужды прощаться. Мы повернули налево у перекрёстка, оказались на родной улице и шли дальше мимо домов и деревьев, машин и бродячих собак, по асфальту, который был теперь скорее лицом человека пожилого, нежели лицом подростка – то есть весь в трещинах, напоминавших морщины. И никаких пробоин. Ну почти.

Мы говорили на сей раз не о литературе или истории, не о шахматных дебютах. И даже впечатлениями о школе не делились. Речь шла о музыке. Но сказать мне было нечего. Я музыкой в те годы совсем не увлекался. Толком и не слушал её. У отца был виниловый проигрыватель, из его кабинета порой доносились мелодии, которые тогда мне были неведомы и никакого интереса во мне не пробуждали, и сам он тоже не пытался мне его привить; так я и остался неприкаянным невеждой в тишине, что заполняли только шелест книжных страниц, пение птиц, голоса людей и шум города.

А вот Роберт – совсем другое дело! Музыка чуть ли не с рождения была частью его жизни. Со мной он ею не делился, поскольку считал, что мне это будет неинтересно. Роберт боялся мне наскучить. И вместе с тем ему, видимо, непросто давалось держать в себе эту мощную страсть к музыке. В тот день, когда я впервые появился в школе после двухнедельного отсутствия, когда рассказал ему о похоронах и о матери, обо всём произошедшем, когда мы шли к нему домой, он достиг той точки, когда все страхи и сомнения покинули его, или скорее даже не так. Иные чувства, вроде огненной, бушующей страсти к этому виду искусства и желание разделить её с тем, кто близок тебе по духу, кто тебе дорог, взяли над ним верх. И он уже не замечал, что происходит вокруг, не пытался уловить мою реакцию, понять по выражению лица, что происходит в моей душе¹²². Он выплёскивал накопленные чувства, эмоции и знания, говорил увлечённо и громче обычного, сыпал именами, датами, названиями групп, альбомов, песен...

– Ты слышал что-нибудь о The Beatles? – спросил меня Роберт, когда мы уже были в его комнате. Я устроился на диване, а он копался в одном из ящиков письменного стола, что стоял в углу.

– Да вроде бы... – ответил я.

¹²⁰ Хотя это, разумеется, небольшое преувеличение. Отличий всё же было немного (!) больше.

¹²¹ Эти, так называемые, рассуждения были полны наивности, глупости, разного рода нелепостей; но главное, что они были необычны, они были несвойственны нашим улицам, такое редко где удавалось услышать. И это будто бы меняло саму реальность, подмешивало к ней некий секретный ингредиент, которого не хватало для того, чтобы всё встало на свои места.

¹²² В моей душе?

– О, это отличная группа! Тебе стоит явно с них начать. Песни у Битлов лёгкие, беззаботные... ну, по большей части. Не напрягают, тоску не наводят, но и не надоедают... Так, вроде бы нашёл.

Роберт резко задвинул ящик стола. Сжимая в руках совсем маленькую серую коробочку, от которой тянулись проводки, он сел рядом со мной, сунул в уши наушники, нажал на кнопку. Экран загорелся, до меня доносились приглушённые звуки музыки. Я наблюдал за Робертом.

– Так, вроде бы работает, – он жал на кнопку, перелистывая песни. – Не помню, какие тут у меня песни, но Битлы вроде бы есть. В общем, держи, – он сунул мне в руку плеер с наушниками, – дарю.

– Да ну брось ты! – удивился я. – Серьёзно, что ль?

– Нет, конечно, – сухо ответил он. – Я пошутил. Отдай обратно, – Роберт выхватил у меня плеер. – Вещь-то дорогая! Так я тебе её и отдал, ага!..

– А-а-а, ну, хорошо. Как скажешь.

В воздухе повисла тишина на несколько мгновений. Затем Роберт во весь голос рассмеялся.

– Да ты чего?! – воскликнул он и вернул мне плеер с наушниками. – Я же угараю! Бери-бери.

– Тебе самому он разве не нужен?

– Да не-е-е, – протянул Роберт и встал с дивана. – Мне отец новый подогнал недавно. Так что забирай, слушай на здоровье. Потом расскажешь, как тебе.

Я поблагодарил его и сунул плеер с наушниками в карман пиджака. Роберт предложил мне остаться, вместе пообедать, заняться уроками (он был одним из лучших учеников в классе и в ту пору всегда прилежно относился к выполнению домашнего задания), поиграть в шахматы и в четвёртую «Цивилизацию», посмотреть какой-нибудь фильм. Я был не прочь. Оставалось только получить разрешение от мамы.

Телефон висел на стене в холле. Я снял трубку, набрал домашний номер. Шли гудки. Ждать ответа пришлось довольно долго. Затем я всё же услышал мамин голос.

– Нет-нет, возвращайся домой! – потребовала мама. – Сейчас же! Не хочу, чтобы ты слонялся где-то...

– Мам, я же не «где-то», я у Роберта, это совсем рядом... Можно останусь хотя бы на пару часов?

– Мне повторить ещё раз? Что непонятного-то? До-мой! Сейчас же! Не то сама за тобой приду.

С этими словами она повесила трубку и оставила меня в полнейшем замешательстве. Никогда прежде мама не была столь резкой и нетерпимой.

Я вернулся в комнату к Роберту, сообщил ему о мамином решении. Его оно тоже удивило.

– Странно, – произнёс он, нахмурившись. – Не помню, чтобы тебе раньше запрещали оставаться у меня... Но ладно. Может как-нибудь в следующий раз?

– Да, конечно, – ответил я.

– Провожать не стану. Пусть музыка тебе составит компанию. Зарядки до дома должно хватить... Кстати! Чуть не забыл!

Я стоял уже у приоткрытой входной двери. Роберт умчался обратно в свою комнату и вернулся с зарядным устройством для плеера. Протянул его мне.

– Вот! – сказал он. – Без этого никак нельзя.

Я вновь поблагодарил его. Мы попрощались. Дверь за мной закрылась. Я сунул зарядку в карман, наушники вставил в уши, включил плеер. Зазвучала музыка. Я направился домой. Тревога от не слишком приятного разговора с матерью отступала по мере того как одна песня сменяла другую.

Глава 6

По ночам я больше не слышал криков. Для меня они перестали существовать. Я находился в другом мире – мире музыки, откуда возвращался каждый раз с большой неохотой. Без музыки вся окружающая действительность казалась блеклой, безвкусной, тягостной.

Мамины крики в какой-то момент действительно прекратились. Примерно через пару-тройку недель после того, как Роберт подарил мне плеер. Это значило, что мне отныне не нужно было спасаться. Однако к тому моменту музыка успела стать неотъемлемой и очень важной частью моей жизни.

В плеере Роберта хранилась целая куча песен. Помню, что кроме The Beatles мне точно попадались The Doors, Pink Floyd, Хендрикс, Джоплин, Grateful Dead, Jefferson Airplane. Все сплошь из шестидесятых. Хотя, были и другие группы, родом из других десятилетий. Pixies вроде бы, Sonic Youth, My Bloody Valentine... Наверняка ещё какие-то... Всех не упомнишь. Да и не надо. Самых важных для Роберта я во всяком случае перечислил. Мне они в те годы тоже нравились. Слушал днями напролёт. По дороге в школу и обратно, на переменах, а иногда даже во время уроков, если удавалось. И домашние задания тоже стал делать под музыку. Я ел и засыпал под музыку. Я под музыку жил. И умереть был готов только под её звучание, пусть мысли о смерти тогда находились от меня предельно далеко (несмотря на случившееся с отцом). Прерывался я разве что на редкие, но эмоционально насыщенные беседы с Робертом. Музыка поглотила, помимо прочих сфер моей жизни, и наши беседы тоже, вытеснив¹²³ собою прочие темы, которые мы прежде имели удовольствие обсуждать.

– Знаешь, – шепнул мне как-то Роба во время одного из уроков, когда мы, пригнувшись сидели за последней партой, и спины впереди сидящих служили нам защитой от взгляда учителя, – у каждого из них есть сольные работы. Тебе стоит заценить.

– Прямо у каждого? – с интересом спросил я. – Серьёзно?

– Ну да. У Ринго я, правда, ничего не слушал. И не знаю никого, кто слушал бы. У Харрисона есть неплохие вещи. Да и у Маккартни тоже. Но Леннон – самый крутой. Он лучший.

– О как! Значит, мне с него и начать?

– Наверное, – Роберт мотнул головой и дёрнул плечом. – Тут уж сам решай. Опасно начинать с Леннона. Потому что остальные тебе могут показаться слишком блеклыми.

В тот день нас выгнали с урока. Одно замечание, второе, третье – а мы всё продолжали болтать. Старались быть потише, но, видимо, не особо получалось. И тогда, отчаявшись, учитель указал нам на дверь.

Сопровождаемые по-рыбьему отрешёнными взглядами одноклассников, мы, в спешке схватив все свои пожитки, вышли в коридор, где было тихо и шумно одновременно. На следующий урок решили не идти. Двинулись сразу в сторону чёрного хода. По пути зашли в гардероб. Там никого не было. Роберт быстро и ловко перелез через стойку, забрал наши куртки. Мы оделись, вышли во двор. По пути нам встретился математик. Высокий, худой, в чёрной рубашке, седой, с вытянутым лицом и впалыми, заплавленными глазами.

– Куда это вы собрались? – спросил он нас. От него жутко воняло сигаретами и дешёвым одеколоном.

– Никуда, – немного растерявшись ответил я.

– Нас тут вообще нет, – подхватил Роберт.

– Ага, – продолжал я. – Вам это всё привиделось.

¹²³ Или всего-навсего потеснив?

Мы продолжали на ходу нести этот бред. Он нам, разумеется, не поверил¹²⁴. Ворчал, возмущался, ругался и обещал пожаловаться директору. Обещание своё он в конце концов сдержал. Из-за него у Роберта потом были проблемы дома. Но это его, насколько я помню, не особо заботило. Да и нам в тот момент та выходка казалась чрезвычайно остроумной и дерзкой¹²⁵. Она развеселила нас, взбудоражила. Выйдя во двор, взглянув на убогие и чересчур тоскливые¹²⁶ заснеженные пейзажи, вдохнув морозного воздуха и сделав несколько шагов, мы тут же почувствовали, что нам тут тесно. И мы двинулись дальше, прочь, куда-то туда, неведомо куда. Моё растерянное «никуда», брошенное в ответ учителю, выходит, оказалось пророческим.

Под серым февральским небом было отчего-то крайне уютно. Возможно, всему виной являлся необычайный простор, что нам внезапно открылся, когда мы вышли в город, простор, который прежде мы не замечали. Среди бледно-голубых стен школы и удушающей, пронзительной, слишком громкой тишины нам было тоскливо¹²⁷ и тягостно. Хотя острее всего это ощущалось как раз вне этих стен. Опьяняющая свобода вдруг предстала нашим глазам и сердцам. Она немного пугала, но вместе с тем и делала нас всесильными. Так, во всяком случае, мне казалось. Да и Роберту наверняка тоже. Ему, пожалуй, даже больше, чем мне. И то, что случилось с ним в дальнейшей – это, я думаю, прямое следствие той нашей спонтанной прогулки.

Мы тем временем двигались в сторону центра города. Людей нам встречалось довольно мало (ведь то было ещё утро); однако суетливое бормотание обыденности доносились отовсюду. Ну а мы не возражали. Несколько минут и вовсе шли молча, что было нам совсем несвойственно. Каждый думал о своём. Поражённые, впечатлённые, ошарашенные, мы нуждались в том, чтобы осмыслить происходящее.

«И вот этого они нас лишили?!» – возмущался я про себя.

Воздух был чист и свеж. Прохладен. Небо нахмурилось сильнее. Тут и там виднелись голые деревья, откуда-то издали раздавались тревожные крики птиц, снег сковывал землю, а из самых тёмных глубин моей души¹²⁸ начинало произрастать доселе невиданное, но очень приятное чувство. Будто всё пришло в норму, встало на свои места. Внутри (впервые со дня смерти отца) наступила гармония, я обрёл спокойствие, которое, как окажется в дальнейшем, многие станут принимать за безразличие, и это выйдет мне боком. Но в те мгновения, шагая по городу вместе с моим другом, я, нащупав то, что в скором времени обещало стать моей истинной сущностью, был взволнован. Ведь даже тогда я точно знал: лишь теперь я стану тем, кто я есть на самом деле и окажусь там, где мне нужно оказаться.

Мы подошли к вокзалу. Я думал повернуть обратно. Мне всё же казалось, что есть смысл посетить оставшиеся уроки. Однако доводы, которые я озвучил Роберту, вероятно, были не слишком убедительны. Хотя я не помню, что говорил. А ещё, думается мне, я всего-навсего, скажем так, по инерции хотел вернуться в школу и на секунду забыл о подлинных своих желаниях.

К счастью, Роберт мне о них напомнил. Он взглянул на меня, как на идиота и воскликнул нечто вроде:

– Да нахера обратно?! Ты чо?! Я тебе сейчас такое покажу! Пошли!

И я пошёл. Вокзал становился всё ближе. До нас доносился его дух, предельно особый, отличающийся от всего, что его окружало. Это как таинственный мир у всех на виду внутри такого же, но большего по размерам мира. Ласково мурлыкали моторы автобусов. И порой

¹²⁴ Хотя, как знать, как знать... может, некое зерно сомнения мы в нём сумели тогда посеять. Думаю, он жил такой жизнью, от которой хотел избавиться хоть как-то: например, сделать вид, что всё вокруг ненастоящее. Отчасти он уже этим занимался, но ему не хватало решимости пойти дальше. А мы его к этому подтолкнули.

¹²⁵ Сейчас она мне кажется просто забавной и (в хорошем смысле) глупой.

¹²⁶ Ибо тоска – она повсюду.

¹²⁷ Ибо тоска – она повсюду.

¹²⁸ Моей души?

мурчание это сменялись рычанием. Отовсюду шёл пар и дым, в ноздри бил запах еды, который очень отдалённо напоминал в то зимнее утро о домашнем тепле и уюте. Откуда-то сверху, будто веления господ бога, громогласно раздавались объявления о том, какой автобус и во сколько отходит с платформы, а какой задерживается. Слышались пересуды людей, стоящих у платформы; и они – эти люди – от чего-то – и мне это показалось тогда действительно странным – не восхищены, они не пребывали в том же упоении, как мы с Робертом. Лица у них были печальные, угрюмые. Мне хотелось подойти к каждому и спросить, в чём дело. Наверняка же они когда-то тоже вот так ходили по улицам и сердца их были преисполнены восторга от невероятных просторов и красот природы и города. Но потом что-то пошло не так. Что же именно? Вот это я и хотел узнать, услышать их истории. Правда ни у меня, ни у них не было времени. Да и вообще, разве могут два незнакомых человека поговорить по душам просто так? Для такого непременно требуется повод, желателен крайне веский. А разве на всех напасёшься поводов? Вот и оставалось лишь следовать за Робертом. Так я очутился в автобусе.

– Куда мы едем? – спросил я, когда мы уже сели.

– К озеру, – ответил он.

Подождал кондукторша. Маленькая, тощая женщина, в глазах которой нельзя было разглядеть ничего, кроме

Мы расплатились за билеты. Автобус тронулся.

Близ Ребеллиона было лишь одно озеро. Называлось оно Ламентис. По легенде, что известна каждому школьнику¹²⁹, один юноша влюбился в девушку. Долгое время он не решался признаться ей в своих чувствах, так как считал, что она слишком хороша для него. В минуты, когда удавалось побыть рядом с ней, узреть её улыбку, услышать её голос, её смех, он был по-настоящему счастлив. Но со временем чувства стали тяготить его. Он не мог прикоснуться к ней, не мог поцеловать её, не мог даже всецело отдаться глубине глаз своей возлюбленной, не мог раствориться в ней, как в бездне уюта и покоя. Постепенно юноша стал ощущать: его начинает поглощать иная бездна; и если он что-то с этим не сделает, то сгинет в ней без остатка. Тогда поминай, как звали.

И вот в один из дней, когда они встретились вновь, юноша, старательно скрывая волнение, обратился к девушке. Он открыл ей свои чувства, сказал, что без памяти влюблён в неё и хочет провести с ней каждое мгновение оставшейся жизни. Преодолев волнение и смущение, он говорил страстно, с воодушевлением. Каждое слово, что слетало с его губ, даровало ему всё большее и большее облегчение. Слишком сильна была любовь юноши. Одному человеку не под силу хранить в себе такие чувства, их между собой должны делить двое. И когда он наконец это сделал, сбросил с сердца столь тяжкую ношу, то ощутил блаженную лёгкость избавления. Но только лишь на мгновение. Высказывая девушке всё, что было на душе¹³⁰, что тяготило и мучило его, он не видел лица своей избранницы. Взгляд его оказался прикован к узкой пустынной тропе, по которой они шли – так было легче собраться с мыслями. Взгляни он хоть единожды, брось один короткий взгляд на лицо девушки, юноша наверняка бы сразу понял, что она не разделяет его нежных, тёплых чувств. Но лишь строгость её голоса позволила юноше вмиг всё понять. И слова, которые она произносила в ответ уже с трудом до него долетали. Будто девушка находилась очень далеко. Юноша не чувствовал более тяжести, она к нему не вернулась. Но боль расцвела в нём пышным цветом, наполнила его душу¹³¹ до краёв.

¹²⁹ Хотя, сейчас уже, наверное, вряд ли.

¹³⁰ На душе?

¹³¹ Его душу?

Он не знал, что с этим делать, как справиться с этой болью. И он не придумал ничего лучше как просто уйти. Ноги его будто сами собой шагали по земле, вели его прочь от того места, в котором он не мог более оставаться. Юноша глядел на то, как они движутся. Их размеренные, монотонные, однообразные движения напоминали ему раскачивающийся маятник, и вроде как усыпляли его боль. Он был словно под гипнозом. И так прошагал до самого выхода из родной деревни, пределов которой он не покидал прежде никогда в своей жизни. При этом никакого страха он не испытывал. Ни разу даже не оглянулся. Не думал он и об отце с матерью, которых оставлял теперь. Всё шёл и шёл этот юный страдалец. Вокруг был прекрасный хвойный лес, над головой его небо, солнце, облака и вольные птицы. Но он видел лишь свои ноги и землю, которая время от времени немного менялась, становясь то чёрной, то рыжей, то порастая травой, то и вовсе обращаясь в песок. В какой-то момент и лес вокруг него исчез. Остались холмы да горы. Вокруг сплошной простор. И посреди этого простора юноша вдруг решил остановиться. Он не устал, нет, не решил повернуть обратно. Причины были неясны ему самому. Просто в голове вдруг что-то щёлкнуло, и он решил: «Всё, хватит». И вот стоял юноша, пустым взором рассматривал не свои ботинки, а окружающий мир во всей его красе. Красота эта, однако, не утешала юношу. Да и вообще вряд ли его могло утешить хоть что-нибудь. Дул лёгкий ветер. И юноша чувствовал: как ветер трепещет листву на деревьях, так и боль неразделённой любви терзает его сердце. В тот миг он осознал, что избавиться от неё можно лишь одним способом: сгинуть навеки самому, без остатка раствориться в красоте этого мира, что предстала его глазам. Он упал на колени под тяжестью своего горя. И расплакался. Слёзы текли и текли, не было этому потоку конца. От юноши не осталось и следа. Так возникло озеро Ламентис.

Много позже примерно в двадцати километрах от этого места вырос Ребеллион – город, что служил всем нам родиной, и служит мне – страшно сказать – по сей день.

В автобусе было тепло, по-своему даже уютно. Мы с Робертом сидели в задней части правого ряда¹³². Положив рюкзаки на колени, оба уставились в окно и разглядывали проносящиеся мимо деревья и дома, занесённые снегом. Иной раз попадались и люди. Где они все теперь? Скорее всего уже мертвы и лежат где-то здесь, на кладбище. Как знать, может вот этот мужчина по соседству с Ванессой – Польцер Брист, чья жизнь оборвалась двадцать пятого октября две тысячи сорок первого года – был одним из тех, кого я мельком увидел в тот зимний день.

Своеобразный уют автобуса являлся, правда, уютом из разряда тоскливых¹³³: находишься в такой обстановке – и тоска начинает вгрызаться в сердце, как червяк в яблоко. Хотя ничего не располагает к такому чувству. В нашем случае это мог быть разве что зимний, необычайно унылый пейзаж. Но я бы не стал на него грешить. Ведь когда мы шли пешком, всё было в полном порядке. Выходит, дело в самом автобусе? В попсовых песенках, еле доносящихся до нас? В парочке влюблённых, прильнувших друг к другу? В бабушке и её внуке, задававшим слишком много вопросов? Может быть во мне самом? Мальчишке недавно потерявшем отца, сбегавшим вдруг с уроков безо всякой причины, мальчишке, что едет за город в морозное, мрачное утро, не понимая зачем он это делает, ощущая лишь правильность такого странного (?), глупого, нелепого поступка, наполненного большим смыслом, чем всё остальное (это и делало его правильным), что есть у него, этого самого мальчишки, только-только постепенного обретающего истинную свою сущность. Но сам я – старик, уставший от жизни, бесконечно далёкий от того мальчишки – сейчас склоняюсь к тому, что всему виной та самая легенда о происхождении озера, которая мне тогда вспомнилась. Пейзаж был точно таким, как его описывает легенда¹³⁴. И глядя на него, я словно стал тем самым юношей – отвергнутым, поглощённым своим горем. Пусть я не знал ещё любви в те годы – мне это ничуть не помешало оказаться как

¹³² Непонятно, как я это вообще запомнил.

¹³³ Тоска – она ведь повсюду.

¹³⁴ Не считая снега.

бы на его месте. Ну а когда мы вышли из автобуса и Ламентис был уже совсем рядом, я всецело проникся духом той истории и главным её персонажем – парнем с разбитым сердцем, чьё горе было столь велико, что оно обратилось в озеро, а сам он сгинул напрочь, покинув наш мир.

Мы медленно шли по берегу озера, говорили о музыке. Всё с тем же трепетом я разглядывал окружающую действительность, впитывал глазами, сердцем и душой¹³⁵ торжество трагизма человеческой жизни. Дул холодный ветер. Мысль о том, что однажды всего этого не станет, и не будет никого, кто знал бы, что здесь было хоть что-то, по-своему завораживала меня. А Роберт, кажется, пребывал в воспоминаниях о прошлых своих визитах к озеру. Я не задавал ему вопросов. Однако заметил, что здесь¹³⁶ – и, к сожалению, только здесь¹³⁷ – осталось нечто очень для него важное. Потому я и не стал ни о чём спрашивать, пожалуй. Ибо нет ничего хуже воспоминаний; но и нет ничего лучше их.

Вскоре каждый из нас вернулся домой.

¹³⁵ Душой?

¹³⁶ Там.

¹³⁷ Там.

Глава 7

Дома дела шли тем же чередом. Мама больше не кричала. Зарыв своё горе куда-то очень глубоко, она превратилась в олицетворение отрешённости. Дни напролёт проводила, сидя в кресле у телевизора, закутавшись в шаль. Время от времени рядом с ней на столике возникала чашка или тарелка, над которой вздымался пар. А потом мама стояла у раковины, намывая посуду так, словно от этого зависела её жизнь. Затем всё повторялось снова и снова. Обо мне она забыла совсем.

Сам я боялся даже смотреть на неё. Не говоря уже о чём-то большем. Поэтому я просто жил своей жизнью, оставляя как бы в стороне. И за это мне всегда будет перед ней очень стыдно. Пусть из нас двоих ребёнком был именно я, мне всё равно трудно простить себя за то, что в ответ на её отчуждение я стал держаться сам по себе¹³⁸, редко покидая свою комнату, устремившись затем в другие места вместо того, чтобы оставаться рядом с ней.

Но в школу я ходил исправно. Несмотря на то, что никто и не заметил бы, прогуляй я денёк или два¹³⁹, несмотря на то, что я видел и чувствовал во время нашей с Робертом спонтанной поездки к озеру Ламентис. Ведь прогулять школу значило бы остаться дома¹⁴⁰, а мне этого не очень-то и хотелось. Мой родной дом превратился для меня из надёжного и уютного убежища в гнетущую обитель самых грозных кошмаров. Покидая его каждое утро, я испытывал облегчение, возвращаясь – я всякий раз был очень удручён.

**Driving in your car
I never, never want to go home
Because I haven't got one
Anymore**

Да, школа не самый лучший вариант. Однако, как оказалось¹⁴¹, лучше задохнуться от несвободы, чем страдать от оживших, ставших явью кошмаров.

Надо ли удивляться тому, что я всеми силами стремился проводить в школе куда больше времени, чем необходимо, чем полагается¹⁴². Просил учителей или кого-нибудь из одноклассников объяснить мне ту или иную тему (хотя мне всё и так было понятно, либо я заранее знал, что никакого толку от их объяснений не будет), делал домашнее задание в школе, вызывался участвовать во всяких конкурсах, состязаниях между классами и другими школами, в театральных постановках (последнее получалось у меня из рук вон плохо, но все в один голос твердили, что я большой молодец. А я в ответ пожимал плечами: дескать, раз вы так считаете, то и замечательно.), делал всё, что угодно, лишь бы возвращаться домой как можно позже. Возвращался порой затемно. Мама ничего мне не говорила, ни о чём не спрашивала. Провожала меня взглядом, пока я поднимался по лестнице к себе, только и всего¹⁴³.

В комнате своей я отныне не находил покоя и уюта (даже такого, как в автобусе во время поездки к озеру). Это место начинало казаться враждебным, оно словно отторгало меня – отторгало путём обращения в своего рода инсталляцию, посвящённую моему тотальному одиночеству, которое я ощутил впервые в жизни.

¹³⁸ С другой стороны, что я мог поделать, не так ли?

¹³⁹ Или всю неделю.

¹⁴⁰ Ибо куда я мог пойти? Роберт осторожничал и прогуливал школьные занятия только в те дни, когда его отец бывал в отъезде. А если я шёл один (случалось порой и такое), то все дороги неизменно вели к кладбищу, где я сидел у могилы отца и пытался понять, почему он решил убить себя.

¹⁴¹ В том конкретном случае.

¹⁴² Что было совсем уж неслыханно!

¹⁴³ А чаще всего не делала и этого.

«А я ведь и в самом деле совсем один, – думалось мне одним вечером, лежа в постели. – Даже когда нахожусь рядом с кем-то, даже когда говорю с кем-то. Например, с Робертом. Интересно, он тоже страдает от одиночества? Надо будет его спросить».

Роберт не страдал. И вообще, кажется, не особо понимал, о чём это я толкую. По-настоящему его заботило совсем другое, а именно то, что мы больше не возвращались вместе домой после уроков. Ведь я постоянно задерживался.

– Ты мне только одно скажи, – произнёс он, когда мы сидели в столовой друг напротив друга, – кто и чем тебя так сильно жажнул по голове, что ты торчишь тут целыми днями?

Я с серьёзным видом пробурчал в ответ нечто вроде:

– Да никто и ничем меня не жажал...

– Ну а чо за дела тогда? – допытывался Роберт.

Я молча ковырялся в тарелке, а мой любопытный друг всё не унимался.

– А может ты решил за учёбу как следует взяться? – он сделал паузу, дожидаясь ответа, а потом (так его и не дождавшись) наклонился ко мне, заглянул в глаза и прищурился. – Или в девчонке дело?

– В какой ещё девчонке? – задал я машинально встречный вопрос.

– Не знаю, – Роберт глядел по сторонам, – в какой-нибудь...

– Да нет, не угадал ты, – я отложил ложку и сдвинул тарелку в сторону. – На этот счёт можешь особо не беспокоиться.

– Так я и не беспокоюсь.

И это было правдой. Роберта не беспокоила причина, по которой я стал задерживаться в школе. Ему, конечно, было любопытно. Но не более того. Беспокойство же у него вызывал сам факт того, что я задерживаюсь в школе и мы больше не покидаем её вместе. А раз не покидаем вместе, то и не беседуем по дороге. Да, мы по-прежнему могли перешёптываться на уроках, обмениваться репликами во время перемен. Но разговоры на пути домой – совсем другое дело. Только ступив на ту тропу и оставив позади школьные беды и заботы, мы могли говорить смело, открыто, что называется, в полную силу. Однако я лишил нас этого. И должен был, наверное, чувствовать вину. Однако я не чувствовал. Ни вину, ни что-либо другое, кроме одиночества. Сама жизнь и всё, что её составляло оказалось мне – столь юному парню – совершенно безразлично. Безразличие же всегда ведёт к поиску. В том и заключается его главная опасность. Если бы я только знал это тогда. Ах, если бы я только знал!..

Чего я точно никак не мог знать, так это того, что следствием “побочного воздействия” станет повышенное внимание к моей персоне со стороны девочек нашего класса. Отныне они не просто разглядывали меня, перешёптываясь между собой, как будто я какое-то неведомое науке существо, они говорили со мной, спрашивали как у меня дела, интересовались моим мнением по тому или иному вопросу, смеялись над моими дурацкими и нелепыми шутками, которые я изредка бросал им, пробовали слушать по моей наводке The Beatles и The Doors, делились своими впечатлениями, сами рекомендовали мне музыку, книги, фильмы. И я следовал их рекомендациям. И тоже делился впечатлениями. С одной из этих девчонок я даже пару раз сходил на свидание. Ну, во всяком случае, это было что-то очень похожее на свидание.

Мы встретились с ней вечером возле школы. Выбрали это место, потому что знали: там не будет никого, кроме нас. А нам хотелось побыть именно вдвоём, наедине. Я волновался, идя с ней на встречу. И заволновался ещё сильнее, когда увидел её. Длинные рыжие косы, торчащие из-под сиреновой шапки, чёрная куртка нараспашку, толстый белый свитер, небольшая сумка на плече, блеск голубых глаз в придачу и лёгкая улыбка – такая, словно она знает обо мне (и об этом мире) всё на свете¹⁴⁴. Её звали Тоня¹⁴⁵ – и в ней было своё особое очарование.

¹⁴⁴ Она знала явно больше моего, была мудрее, чем я.

¹⁴⁵ Или Соня? Не могу точно вспомнить.

Мы слонялись по спортивной площадке около четырёх часов, совершенно не чувствуя холода. Тоня¹⁴⁶ рассказала немного о себе и своей семье, я рассказал о себе. Затем мы перешли к разговорам о музыке и литературе. Волнение понемногу отступало.

Обе наших встречи (вроде бы их было всего две, но я могу ошибаться) прошли, на мой взгляд, вполне удачно. Да, пусть мы не стали с ней красивой парой всем на зависть – зато хорошо провели время. Она открыла мне Joy Division, The Cure, Siouxsie and the Banshees¹⁴⁷. Разве можно рассчитывать на большее?..

Разумеется, нет, нельзя! Во многом из-за меня, конечно, поскольку я, во-первых, не находил в себе необходимого стремления, а во-вторых, не особо понимал, что мне нужно делать, дабы достичь сближения. Это вроде как должно быть понятно само собой. Но мне не было. Она ждала от меня чего-то... ну, то есть не чего-то, а каких-то слов, действий, которые позволили бы ей лучше понять мои намерения. Только я, к сожалению, не мог ей этого дать. И в какой-то момент она устала ждать. Для неё наступило разочарование, отразившееся во мне горечью. Хотя сожалеть тут особо не о чем. Мы остались добрыми друзьями, а она, несколько позже, вышла замуж, состригла свои рыжие косы, родила троих детей, поселилась в строгом домике из стекла и стали, села за руль «БМВ» и в какой-то момент пропала из виду, как пропали многие другие люди, которых я когда-либо знал.

В определённый момент девичье внимание мне наскучило. Я от него устал. Всё свелось к обмену бессмысленными репликами. Это была явно какая-то игра, хорошо им известная. Мне она не пришлась по нраву. Я стал постепенно отстраняться. Не сразу, ибо не хотелось их обижать. Они не причём. Они добрые, хорошие, они мне нравились, нравились их голоса, их жадные взгляды, охочие до новых впечатлений, нравились их мысли. В них было стремление постичь истину, а затем и обуздать её. Глупое, невозможное стремление. Но им нельзя не восхищаться, нельзя его не уважать. Вот я и восхищался, уважал. И как дань уважения даровал им ещё несколько длительных, донельзя затянутых мгновений в моей компании. Девочкам это было необходимо. Каждой из них. Так они впоследствии узнали своих мужей, отцов, сыновей. Однако, мне кажется, никто так ничего и не понял. Но я, безусловно, могу ошибаться. Как любил повторять один мой друг: *yo no sé*.

Дома у нас иногда появлялись разные люди. Я мог видеть их мельком, если своим визитом они заставляли меня сидящим в кухне за обеденным столом, со скучающим видом, поедающим что-нибудь не слишком замысловатое и изысканное. Всякий раз гостями были либо три женщины – мамы ровесницы или чуть старше – облик их сдуло из закоулков моей памяти сквозняком времени, либо пожилой мужчина, высокий, широкоплечий, покрытый сединой, которая делала его в моих глазах похожим на могучую сосну, окруженную ночным мраком зимней ночи и снегом, липнущим к мохнатым ветвям, либо молодой парень лет тридцати, с длинными вьющимися волосами, тонкими чертами лица и острым подбородком, облачённый в тёмные джинсы, белую рубашку, жилетку, пальто и шарф.

Все они, независимо от пола, возраста и прочих характеристик шли напрямик к маме. По мне скользили их взгляды – так тень скользит по стене – и большего я не устаивался. Да и не желал, в общем-то. Поэтому претензий не имел ни тогда, ни тем более сейчас¹⁴⁸. Я заканчивал есть под звуки их голосов. До меня доносились обрывки фраз, я украдкой поглядывал на них. Женщины опускались рядом с мамой на колени, держали её за руки, обнимали, смотрели на неё с выражением, полным (со)страдания и говорили:

– Ты должна отпустить его...

– Надо жить дальше...

¹⁴⁶ Или Соня.

¹⁴⁷ А ещё благодаря ей я стал чуть ближе к таинственному миру Женщин.

¹⁴⁸ Но если обратиться к глубинным своим чувствам, то по сей день можно отыскать там некую обиду на них за это.

– Нельзя всю жизнь провести вот так...

Могучая сосна, которая на самом деле была моим дедушкой, стояла, не двигаясь с места, как и положено сосне, и спрашивала:

– Что я могу для тебя сделать?.. Может ты хочешь вернуться домой?.. Позвонишь мне завтра?

Парень расхаживал по гостиной взад-вперёд и говорил о себе, размахивая руками. Что говорил конкретно, я вряд ли смогу вспомнить. Слишком хаотичны были его мысли.

Мама на всё это реагировала одинаково: плакала и/или молчала.

– Оставь(те) меня, я очень устала, – заявляла она в конце и люди уходили.

Так продолжалось несколько месяцев. Снова и снова одно и то же. Всё изменилось, когда в доме случился пожар.

Стояло лето. Не слишком жаркое, но влажное – дожди шли чуть ли не каждый день. Обычное дело для здешних мест. Я целыми днями сидел в своей комнате. Слушал музыку, иногда разговаривал с Робертом по телефону. Он уехал вместе с семьёй из города, гостил у своего дяди, кажется. Ему там нравилось. Мало того, что можно с лёгкостью обойтись без зонта, так ещё и компания весёлая нашлась.

– Мы гуляем до поздней ночи, – рассказывал он мне, – пьём пиво и вино, говорим о какой-то тупорылой херне и творим ещё большую херню. Тут никто даже не слышал о Sonic Youth, но я всё равно балдею. Наконец-то чувствую себя живым. Был бы ты со мной – вот это было бы вообще отлично. Буду каждое лето ездить, может как-нибудь со мной вырвешься.

– Ага, – пробурчал я в ответ, зная, что этому не бывать.

– Я тут, кстати, с девчонкой классной познакомился. Зовут Жизель. Забавное такое имя, конечно. Она тоже откуда-то издалека. Её кто-то из наших пригласил. Или кто-то из знакомых одного из наших. В общем, не помню я. Без разницы. Главное, что мы сразу заметили друг друга. И она так на меня посмотрела. У меня внутри что-то колыхнулось – и я понял: между нами непременно что-то будет. И я не ошибся, брат мой. В ту же ночь мы отбились от общей стаи. Без них нам было даже лучше. Ну и слово за слово... и вот мы уже стоим под фонарём, как в этих старых голливудских киношках и целуемся. Я её всю ощупал. Сиськи у неё, скажу я тебе, что надо. А ты там чо, как? Чем занимаешься? Нашёл себе кого-нибудь?

– Да не... Я в комнате у себя сижу целыми днями. Никуда не выхожу практически. Тут дожди не прекращаются.

– Ну, как всегда!.. – вздохнул Роберт. – Хреново, конечно. Но у тебя же вроде что-то с этой намечалось... как её там?..

– С Тоней?

– Я думал, её Соня зовут.

– Да нет, вроде Тоня всё-таки.

– Да пофиг, мужик. Мутки будут или как? Не тупи давай. Она готова, по-любому.

– С чего ты взял?

– Да это и ежу понятно. Делай, как я говорю, всё будет на мази. В общем, ладно, погнал я. Ты давай это... не кисни. На днях позвоню ещё.

Он повесил трубку, а я рухнул обратно в мрачную тишину гостиной, где находился в тот момент. Тишину нарушил дождь, бьющий в окно, и молодой Джефф Дэниелз в образе Тома Бакстера, беспокойно снующий по экрану телевизора. Я уже хотел было вернуться в комнату, как вдруг почуял запах дыма. И лишь тогда мне в голову врезался вопрос: «А где мама?»

Я обнаружил её в студии, где она раньше писала портреты. Пламя поглотило большинство из них, а сама она сидела на полу посреди этого ада и плакала.

– Мам! – крикнул я, подбежав к ней. – Ты что?! Пошли скорее!

Я стал поднимать её, но она не поддавалась.

– Не хочу, – еле слышно сказала мама. – Я устала. Оставь меня здесь. Пусть всё наконец закончится.

Она говорила словно бы и не со мной. Я чувствовал себя рядом с ней мёртвым, бесплотным, пустым.

В таком состоянии я выбежал из дома, в сущности, выполнив мамину просьбу. Добравшись до соседей, я стал колотить в их дверь кулаками и кричать что-то бессвязное. Не помню уже всех деталей, поскольку я был страшно напуган и совершенно растерян, но пожар в итоге потушили. Сами соседи, кажется. Ибо пожарных я бы наверняка запомнил. После этого сохранилось всего два портрета. Остальные были уничтожены.

В тот же день приехал дедушка-сосна вместе с тем тощим пижоном, который оказался моим дядей, чьё имя указал отец в записке, приклеенной скотчем к двери кабинета. Некоторое время их не было видно. Или правильной будет сказать, что это меня не было видно, так как я, по своему обыкновению, сидел у себя в комнате, слушал музыку. В ушах у меня звучали The Banshees, и мне отчего-то вдруг захотелось записать свои мысли. Возникла нестерпимая тяга. Встав с постели, я подошёл к столу, открыл ящик и выудил оттуда чистую тетрадь. В тот момент, когда я начал что-то писать, дверь приоткрылась. На пороге возник дедушка. Я заметил его краем глаза, повернулся к нему, вытащил из уха один наушник.

– А-а-а, уроки делаешь, значит? – прохрипел он, входя в комнату.

– Угу, – соврал я и закрыл тетрадь.

– Темновато тут у тебя как-то, – дедушка осматривался, затем сел на край кровати.

– Ты меня, наверное, совсем не помнишь. Я тебе как чужой сейчас. Но когда-то – поверь мне – мы были весьма близки. Помню тебя совсем маленьким. Ты со мной пару раз оставался на целый день. И мы неплохо проводили время...

Он всё говорил и говорил, предавался воспоминаниям, в подробностях описывал самые разные эпизоды, уходя порой в неведомые дебри своей памяти, забывая, что на самом деле хотел сказать. Потом пытался вернуться к главному. В конце он встал и произнёс следующие слова, которые дедушка будто бы и для меня вовсе, а для себя самого:

– Маме твоей совсем плохо. Я думал со временем ей станет лучше, но, видимо, всё с точностью да наоборот. Поэтому некоторое время вы поживёте у меня. А там дальше видно будет...

Внутри у меня всё сжалось. Я не хотел никуда переезжать.

«Разве могу я, – спрашивал я про себя неведомо кого, – вот так взять и покинуть этот дом?».

На мой взгляд такой поступок осквернял память моего отца. Но и сказать я ничего не мог. Мне казалось, что слушать меня всё равно никто не станет. А кроме того, вид у деда был грозный. Он пугал меня. Поэтому я молчал и постукивал ручкой о стол, глядя куда-то в сторону. В моём ухе Роберт Смит сменил Сьюзи Сью.

– Ну ладно, – сказал дедушка-сосна, вставая с кровати – пойду я. Оставляю тебя в покое. Ты посиди, подумай. Мы этот вопрос ещё обсудим¹⁴⁹.

Он вышел из комнаты, а я остался наедине со своим смятением. Но ненадолго. В таком состоянии меня обнаружил дядя Сё. Его голова возникла в дверном проёме, чтобы прошептать лишь одну фразу:

– На твоём месте я бы заглянул в отцовский кабинет.

¹⁴⁹ Не знаю, зачем он так сказал, потому что думать мне было не о чем (так как моё мнение всё равно не изменилось бы; да и оно не учитывалось вовсе, так что какая разница?) и вопрос этот мы больше никогда не обсуждали.

С этими словами голова его тут же исчезла. И я остался в одиночестве теперь уже до конца дня, который провёл, стараясь понять, рад я этому или же нет.

Глава 8

На следующий день я стоял перед дверью в кабинет отца. Тупо смотрел на неё. А она смотрела на меня. Рука пару раз дёрнулась, чтобы постучать, но я напоминал себе: «В этом больше нет нужды».

«Лучше открой её, – продолжал я говорить сам с собой (не вслух, конечно). – Тут ничего сложного нет. Взялся за ручку двери, повернул, толкнул дверь и вошёл».

«Сложного-то, может, и нет, – отвечал я себе, – только вот я всё равно не могу».

Я ушёл обратно в свою комнату, лёг на кровать и уставился в потолок. Однако мне по-прежнему виделась дверь отцовского кабинета. Никто не совался туда со дня похорон. Там всё так и осталось. Войти туда означало бы вновь встретиться с ним. А я не был уверен, что готов к этому. Но другого шанса могло и не представиться. Поэтому я вернулся к двери, встал напротив неё, пытаясь набраться решимости.

Открывать ту дверь на самом деле было не так уж просто, как я убеждал себя. Нет, она, что странно, оказалась незапертой. Сложность заключалась в другом. Дверь эта словно бы напиталась трагедией, горечью утраты, разбухла, как от дождя и оттого сделалась необычайно тяжёлой. Никогда в жизни более мне не будет так сложно выполнить столь простое действие.

Внутри, насколько я мог судить, и правда ничего не изменилось. Прежде передо мной представляли только обрывки этого места. Письменный стол в дальнем углу справа, за которым работал отец, часть книжного шкафа за его спиной, большое и старое кресло с коричневой обивкой и резными ножками из тёмного дерева, тумбочка с одним ящичком, а на ней лампа с абажуром, покрытым пылью.

Первое, что я сделал, войдя в кабинет, – попытался включить лампу. Непонятно зачем. И без неё вполне можно было обойтись. Хотя надо же с чего-то начинать? Вот я и нажал на кнопку. Лампа не включилась. Тогда я обернулся – к той стене, что всегда была сокрыта от моего взгляда. Там тоже был шкаф с книгами. Книги, книги, книги, сплошь книги. А ещё пластинки. Не так много, штук двадцать, наверное. Часть из них позже станет началом моей собственной коллекции. Но до этого ещё далеко. Пока я просто стоял посреди кабинета и рассматривал его убранство, впервые чувствуя, что приобщился к некой Великой Тайне. Каждая жизнь – это тайна. Особенно та, что оказалась (внезапно) прервана. Хотя «прервана» совсем не то слово. Оно противоречит тому, что я пытаюсь выразить. Жизнь не то чтобы прерывается, а скорее распадается на множество осколков, обращаясь таким образом в тайну. И даже если ты хорошо знал человека, она всё равно станет тайной. Ибо когда человек уходит, выясняется, что ни он сам, ни его близкие и родные, ни тем более все остальные ничего не знали о том, кто он такой на самом деле и какова его жизнь, что она из себя представляет. И только собирая, если не воедино, то хоть как-нибудь, кучу тех самых осколков, начинаешь примерно понимать, как и что там было в действительности, начинаешь видеть очертания *истины*. В тот день я обнаружил несколько таких осколков. И они больно вонзились мне в душу¹⁵⁰, которая стала похожа на истрёпанный флаг корабля, без конца блуждающего по морям, лишённого какого-либо пристанища.

Отец ощущался в каждом предмете, в каждой вещице, он был здесь всюду, он был здесь всем. Но, к сожалению, это не позволяло почувствовать, будто он вернулся, как бывает в подобных случаях, обстоятельствах. Для такого необходимо, чтобы место, где жил человек и где он умер различались между собой. А отец и жил, и умер в своём кабинете. Во всех остальных комнатах нашего дома, во всех прочих закоулках нашего огромного мира не осталось следов его жизни (я говорю *жизни*, не деятельности). В том же месте, где они остались, жизнь и

¹⁵⁰ Мне в душу?

смерть слились воедино. И когда жизнь со смертью сливаются воедино, всегда остаётся привкус именно смерти. Ведь если жизнь – это кусок хлеба, то смерть – сливочное масло.

Я расхаживал из угла в угол, разглядывал отцовские вещицы. Самые важные из них помещались на поверхности стола. Ноутбук, принтер, очки в футляре, стопка блокнотов, каждый из которых полон различных заметок (это было и так ясно, можно было даже их не листать), наборы перьевых и шариковых ручек, бюст Кафки, наше совместное фото, где мы втроём – папа, мама и совсем ещё маленький я. Отец держит меня на руках и широко улыбается. На нём голубая рубашка и бежевые брюки. Мать, облачённая в лёгкое, по виду почти невесомое бледно-жёлтое платье с ромашками, стоит рядом, с нежностью смотрит на отца, положив руку ему на плечо. Вокруг – погожий летний день. Лазурное небо и пушистые облака, яркое солнце, зелень травы и блестящей листвы. Весьма редкое для Ребеллиона явление. У нас в народе даже примета есть: кто родился в такой день – непременно будет счастливым. Все трое, запечатлённые на том фото, родились в день пасмурный и мрачный. Но я не верю в приметы и не думаю, что это как-то связано с тем, как сложилась судьба каждого из нас. «Ничто не происходит просто так», – говорят люди. «Абсолютно всё происходит просто так», – отвечаю им я. И откуда-то из глубокой чёрной бездны, из утробы бытия раздаётся раскатистый хохот. Клянусь, это был не я. Я находился у самого центра вселенной. Вот он – стол моего отца и его вещи. Я со всей искренностью, на какую только был способен, принимал всё это за центр вселенной. Но стоило мне сесть в кресло, на котором висел пиджак, как мне стало очевидно, что это вовсе не так. Моя тогдашняя мысль, повторенная сейчас, о том, что все самые важные его вещи помещаются на поверхности стола, показалась мне полнейшим бредом. Да уж... Вечно оспаривать собственные утверждения, впечатления, мысли, спорить с самим собой, себе же противоречить – это, пожалуй, моя самая яркая отличительная черта. Быть может, всему виной то, что я себе никогда не доверял, во всём без конца сомневался. Ну или на самом деле всё совсем не так. Хотя это я уже, конечно, паясничаю. Смешно – обхохочешься, ага. Ха-ха-ха! Вот теперь это уже я смеюсь. Интересно, часто ли на кладбище раздаётся смех? Рискну предположить, что нет. Более того, вполне вероятно, что такое здесь случилось впервые. Значит, наверняка случится что-то ещё странное, из ряда вон выходящее. Ибо подобное притягивает подобное. «Смех на кладбище в угрюмый день как катализатор странностей нашего мира». Отец вполне мог бы написать такое эссе.

Если же говорить серьёзно и вернуться в тот далёкий день, в папин кабинет, то стоит сказать, что неведомо откуда взявшееся и сразившее наповал ощущение бредовости собственной мысли, собственного убеждения о центре вселенной, привело меня в итоге к невероятному открытию, изменившему всю мою жизнь¹⁵¹.

«На твоём месте я бы заглянул в отцовский кабинет», – раздался в моей голове дядин голос.

«С чего бы ему так говорить? – начал рассуждать я. – Выходит, он знает что-то, чего не знаю я. А раз он это знает, значит, он был здесь до меня. Что приводит нас к тому, что я ошибался, считая, будто никто сюда не совался со дня похорон. Дядя Сё совался точно. Возможно, кто-то ещё. Вопрос: зачем? Папа своей последней запиской, оставленной на двери, велел позвонить ему. Никаких других указаний он не оставил. Даже о своих мотивах не поведал. Даёт ли такое положение вещей дяде тайком входить в кабинет отца? Скорее да, чем нет. Хотя прежде стоило, я думаю, обсудить это с остальными. Ну да бог с ним... Важно другое. Дядя вошёл сюда, всё, видимо, осмотрел, обыскал и на что-то в своих поисках наткнулся. Это что-то потрясло его... во всяком случае произвело сильное (определённое) впечатление. Ну или это просто что-то действительно важное, но такое, что нельзя взять и показать. Я должен сам сюда прийти и это что-то отыскать. Что-то, связанное со мной, я полагаю? Что-то, что

¹⁵¹ Или это сказано слишком громко? Да вроде бы нет...

должен увидеть я и никто другой? Где же конкретно я должен это искать? И что это может быть такое? Дядя ни единой подсказки не оставил. Станный он какой-то...».

Я встал с кресла. Неспеша обошёл весь кабинет, заложив руки за спину, неосознанно копируя повадки отца. Я разглядывал книжки, тщательно изучал заглавия, внешний вид корешков. Это напоминало опознание преступника. Или допрос свидетеля. В любом случае, ни одна из книг не вызвала у меня подозрений. И тогда я обратил внимание на ящики и закрытые шкафчики, коих тут¹⁵² было немало.

«Вот уж где подлинный смысл, – подумал я, открыв дверцы шкафчика что под книжными полками, – вот где вращаются звёзды».

В роли «звёзд» выступали небольшие картонные коробочки, коими оказался забит шкафчик. К каждой скотчем приклеена бумажка с датой: **1985, 1989, 1993, 1998, 2000** (цифры аккуратно выведены чёрным маркером). Я вытащил одну из них – ту, что с надписью «**1993**», ведь это год моего рождения – и поставил на стол. Крышка была запечатана скотчем. Я искал канцелярский нож, но в итоге пришлось воспользоваться одной из шариковых ручек, лежащих на столе. Она вполне для этого сгодилась. Я открыл коробку, заглянул внутрь. Там было много всего. Голубой значок с портретом Роберта Смита, конверт, на котором значилось моё имя, книжка в мягкой обложке, гитарные струны, кассета с альбомом «Pablo Honey», несколько почтовых открыток и коротких писем, адресованных отцу:

«Поздравляю с рождением сына!» – писал некто по имени Андрей Гесперидов на открытке тёмно-зелёного цвета с изображением раскидистого дерева, судя по всему яблони.

«Ну и дела! Ты теперь у нас папаша! Поздравляю. Больше, наверное, и не свидимся. Но если ты счастлив, то я за тебя очень рад. Пиши мне хоть иногда. Не забывай совсем». Подпись: Вожик Лаврентьев.

«Что ж, раз сам Миллер решил стать отцом, значит, миру нашему скоро настанет конец. Если я ошибся, с меня пиво. Жене передавай привет. Желаю удачи на новом поприще. Всего наилучшего. С любовью,

Соломон Кальви».

Было ещё несколько открыток и писем. Все они хранятся ныне в одной из коробок в моём доме, в кабинете на втором этаже, где хранится всё моё прошлое.

Что станет с этими вещами, когда я умру? Почему-то только сейчас я об этом задумался. Мне некому их передать, и выходит, они сгинут вместе со мной. Кто-то, возможно, однажды на них наткнётся. Но вряд ли он (или она) сможет разобраться что к чему, вряд ли захочет и станет. Некому будет собрать воедино осколки – и в мире станет на одну великую тайну больше. Когда-нибудь и сам он станет такой же тайной. И я не знаю, хорошо это или плохо.

Что было в остальных открытках и письмах – уже не вспомню. Да и в тех, о которых вспомнил, наверняка что-то было иначе. Верно ли я всё запомнил? Не уверен. Но в самых общих чертах ошибок вроде бы нет. Прав был Кальви-младший, когда сказал, что с такой блестящей памятью мне будет суждено стать летописцем нашей дружной и весёлой компании. Только я далеко не всегда доверяю даже ей на все сто процентов.

Довольно много времени провёл я в кабинете отца в тот день. Коробкам, вещам и всяким мелочам, казалось, нет конца.

«Чего ради он хранил всё это? – подумал я. – Наверное, это имело какой-то смысл, какое-то предназначение было у всего этого. Тут явно дело не только в сентиментальности и ностальгии».

¹⁵² Там.

Но догадаться я не смог, как ни пытался. На это у меня уйдут годы. Хотя мне до сих пор кажется, что я так ничего и не понял, а лишь убедил себя в том, что действительно понял (таков удел очень многих, почти всех людей в нашем мире).

И конечно, что сейчас, что тогда, мне, в сущности, оставалось только одно: отбросить, отринуть бесконечно естественное, как желание ухватиться за что-нибудь при падении, для всякого здравомыслящего человека стремление постичь глубину смыслов и продолжать погружаться в мир отца, расколовшийся на тысячи осколков.

На самом дне коробки лежало потускневшее, измятое, изорванное по краям фото. На нём были изображены двое. Молодые парни. Лет по двадцать. Сидят за обеденным столом в полумраке. Один слева, другой справа. На одном клетчатая тёмно-зелёная рубашка, на другом серая футболка с изображением Лу Рида. У одного тёмные и длинные волосы, у другого чуть светлее и короткие. Один улыбается, другой сохраняет серьёзное выражение лица. Между ними корзина фруктов. На обороте подпись: *Эдвин и Сол в гостях у Черёмухи, 22.02.1993.*

Несмотря на соответствие дат на коробке и на фото, отчего-то именно фото смотрелось среди прочих вещей как-то вычурно, оно казалось лишним, будто попало туда случайно, по ошибке. Но как бы там ни было, случайно или нет, была ошибка или было намерение, фото лежало в коробке. Я взял его и принялся рассматривать.

«Что ещё за Черёмуха?» – возник у меня вопрос.

Я стал мысленно перебирать отцовских друзей, приятелей, знакомых, будто перелистывал колоду карт. Разумеется, я знал не всех, с кем он был дружен. Даже тогда мне это было очевидно. У людей вроде отца всегда остаётся некая часть их жизни и личности, сокрытая от всех, включая самых близких людей. И в этом, я полагаю, выражалась его забота обо мне, о маме. Раньше я этого не понимал. Отец мне казался несколько холодным и отстранённым. Но на самом деле это мир вокруг него был предельно холодным, не готовым его принять. И от того папа не мог быть его частью в полной мере, не мог говорить с людьми о том, что его действительно волновало, что ему казалось важным и достойным высказывания, обсуждения. Он делал это через литературу. И когда он вдруг обнаружил, что ему больше нечего сказать, он наверняка почувствовал вселенскую тоску¹⁵³ и одиночество, будто его поглотил космос. И он решил уйти. Так что иначе, наверное, и быть не могло.

Но четырнадцатилетнему мне так не казалось. И я, ужаленный скорбью, стремился найти причину, которая объяснила бы мне поступок отца. Как будто от этого стало бы легче. Я был уверен, что стало бы. И в какой-то мере я, пожалуй, был прав. Ибо человеку сложно мириться с беспричинностью. Обязательно всё должно быть логично обосновано, пусть даже это будет самая кособокая и хромая логика. Ведь если что-то происходит просто так – это значит, что Человек не есть Венец Творения Божьего (или кого/чего бы то ни было), а жизнь его лишена Великого Смысла. Есть только Хаос – безумный, неистовый, нескончаемый, вереницей несущийся по мирам, как ураган, равнодушно засасывающий в себя всё, что мирно ждёт в Небытии своего часа и так же равнодушно выплёвывающий обратно в Небытие. И нет ни баланса, ни закономерностей, ни предопределённостей. Всё это – порождение человеческого сознания, преисполненного ужаса пред Хаосом, чьё дыхание каждый чувствует на своей шее – и оно словно топор палача, что занесён над несправедливо осужденным беднягой, то есть над каждым из нас – но убеждает себя, что ему это всего-навсего кажется, ведь человек пребывает в своей субъективной реальности, сформированной (и формируемой) его познанием, и если объект непознаваем и невоспринимаем (осознанно или нет), то его как бы и не существует. Но правда такова, что в час, когда та тень от топора затмит собою солнце, наступит так конец всему.

В голове возникали имена и лица. Но никакой «Черёмухи» среди них не было.

¹⁵³ Ибо тоска – она повсюду.

«Возможно я найду ответы среди отцовских записей», – предположил я и, вернув фото обратно в коробку, взял конверт. Тот, что с моим именем. Внутри лежал аккуратно сложенный лист бумаги. Я достал его, развернул и стал читать.

Это было письмо, адресованное мне. А если точнее, то восемнадцатилетнему мне. Указание о возрастном цензе содержалось и в заголовке, и в самом письме. Собственно, с него оно и начиналось. Ну а дальше отец подробно описывал день моего рождения, какими событиями, приятными и не очень, он был наполнен, в каком наряде встречал меня мир, какие трудности уготовила им¹⁵⁴ судьба (хотя я не очень люблю это слово) и какие чувства они испытывали. В целом, письмо вышло трогательным. Я прочёл его сразу, не стал дожидаться совершеннолетия. Да, мне было совестно, конечно, но я рассудил так: за то время, что я жду, может произойти всякое. Вдруг письмо не уцелеет, и я никогда не узнаю, что хотел сказать мне отец. Поэтому лучше это сделать сразу – и на душе¹⁵⁵ будет спокойнее.

В письме я, правда, не нашёл ни одного упоминания ни о ком по прозвищу Черёмуха. Что логично, пожалуй (?). Как и то, что я не нашёл там объяснения причин его решения уйти из жизни. Да, глупо было надеяться найти в нём ответы, учитывая каким числом датировано письмо, кому оно предназначалось и с какой целью было написано; но мне казалось, что я смогу обнаружить там если не прямые объяснения, то хотя бы какие-то полунамёки, определённые знаки, указывающие на характерное, едва зарождающее намерение.

Однако, я не нашёл ни того, ни другого. И потому продолжил искать.

Я вытащил из шкафчика все коробки, отмеченные датами, разложил их на столе, предварительно расчистив место, и стал открывать каждую, погружая руки в содержимое – так опытный хирург погружает руки в раскрытую грудную клетку, дабы провести операцию, устранить повреждение, дефект.

Чего там только ни было в этих коробках! Увесистые стопки писем, обмотанные бечёвкой, альбомы с фотографиями, записные книжки, разного рода безделушки, к каждой из которых отец оставил детальное пояснение в соответствующем дневнике, которые отец вёл практически непрерывно, начиная с шестнадцати лет (их я изучил много позже, когда перебрался в дом, где живу и поныне). К примеру, в коробке «1985» лежал огрызок карандаша. В соответствующем дневнике (который, как и все прочие, найти тогда было не так просто, как всё остальное, хоть мне это и удалось частично¹⁵⁶) отец писал, что этот карандаш был его первой покупкой в Ребеллионе. Купил он его в газетном киоске близ вокзала, только сойдя с поезда. Этим карандашом отец написал десять рассказов, каждый из которых отвергли все журналы и издания, существовавшие в Ребеллионе в то время. Позднее, когда отец уже добился признания публики и стал знаменит, эти рассказы тоже были изданы. Ни одному изданию, ни одному журналу он их, правда, не доверил и издал за свой счёт.

«Я не менял ни строчки в этих рассказах, – таков был письменный ответ отца редактору на просьбу прислать им рассказы. – А поскольку вы их однажды уже отвергли, значит, нет никаких оснований принимать их теперь.»

Вероятно, это был первый в истории республики, и один из редких в мировой практике в целом, случай, когда писатель отверг редактора, а не наоборот.

Интересных случаев в жизни отца хватало. Особенно в молодости. И дабы сохранить их все где-то, кроме своей памяти, он о каждом оставил какой-то предмет – предмет, воплощающий тот или иной миг. В этом, как мне кажется, сердцевина его писательской сущности. Ведь писательство, сочинительство есть стремление (иногда успешное, иногда не очень) запечатлеть мгновение (мгновения), снять с него проклятие времени, избавить от участи полного ислечения

¹⁵⁴ Моим родителям.

¹⁵⁵ На душе?

¹⁵⁶ Поскольку что-то найти не удалось вовсе.

и самому вырваться из пут человеческой обречённости. Ведь если мы сумма всех мгновений, как говорил Вульф, то смерть или, вернее, процесс умирания, который и есть сама жизнь, – вычитание тех мгновений по одному, безжалостное выдёргивание их с корнем по одному без анестезии.

Таким был отец. Вернее, таким он предстал передо мной в тот день, когда я, выражаясь словами классика (лишь слегка их перефразировав), «sneak into his room, just to read his diary». Хотя я-то, конечно, не знал тогда, что отец вёл дневник. Открытие это, как и все прочие важные открытия в жизни, я совершил абсолютно случайно. Более того, это даже случайностью трудно назвать. Скорее это нечто ещё менее значительное, менее предсказуемое, не столь вплетённое в общую ткань событий, исток которых лежит где-то в начале времён. Существует ли слово, определяющее такое происшествие, такую вещь, возникающую в жизни каждого человека, я полагаю, довольно часто? Каким бы ни было то слово, а случилось всё вот так.

После не слишком тщательного и довольно хаотичного обыска в кабинете отца я, под натиском эмоций и впечатлений, всё же несколько утомился; и потому решил расслабиться наиболее излюбленным мне в те дни способом – послушать музыку. В музыке растворялись все мои печали и тревоги, вся моя усталость от этой жизни.

Перебрав отцовские пластинки, я выбрал ту, что была мне неизвестна, но интриговала своей обложкой и названием: «The Smiths – The Queen is dead».

«Любопытное заявление, – решил я. – Будто заголовок в газете: «Королева мертва». А это, выходит, некролог или что-то в этом роде? Сейчас и узнаем».

Я достал пластинку из конверта, поставил её в проигрыватель, включил, а сам вернулся за отцовский стол и принялся рассматривать конверт. Зазвучала песня.

На обложке был изображён молодой парень. Мёртвый, по всей видимости. Глаза его открыты, но до краёв наполнены пустотой, которую ни с чем не спутать: то печать смерти. Руки его как-то нелепо, неуклюже, неестественно лежали на груди. Они напоминали скорее хищных птиц, что слетелись на запах мертвечины. Из динамиков проигрывателя сперва раздались голоса – словно из какого-то очень старого фильма. Затем они умолкли. Им на смену пришли барабаны. Ритм – в нём ощущалось что-то первобытное – сразу покорила меня. Но не песня в целом. Она поражала своей уникальностью, свежестью, новизной, однако, не проникала вглубь, не добиралась до души моей¹⁵⁷, не пронзала её солнечным лучом, не облизывала языком пламени. Это всего-навсего было нечто, непохожее ни на что другое, что я слышал прежде. И поэтому я продолжал слушать дальше. От песни к песне крепло моё чувство, будто я отдаляюсь от места, в котором нахожусь, будто я всецело (и в этом большая разница) где-то в *Запределье* – в метафизическом пространстве, наполненном образами, мыслями, чувствами. Я впервые оказался в том месте, или, вернее, впервые осознал собственное там присутствие. Мне понравилось это осознание, это присутствие, этот мир, что принадлежит только мне одному. С того дня он становился всё более и более отчётливым, осязаемым, полнокровным, реальным.

Музыка звучала. Я погружался в себя. И дабы окончательно не утратить связь с реальностью, барабанил по столу, вторя ритму песен. Касаясь материальных предметов, я будто держался за нить, что выведет меня из лабиринта, как бы далеко я ни забрался. И нить в самом деле вывела из него, но вывела совсем не туда, откуда я вошёл в лабиринт, она привела меня к чему-то новому. И это было лучшее на что я только мог рассчитывать. И здесь¹⁵⁸ кончался лабиринт, он оставался позади, а передо мной теперь раскинулся дивный, величественный сад – нет, скорее не сад, а полуразрушенный (но всё же действительно величественный) и давно заброшенный город, сплошь обвитый ядовито-яркой зеленью деревьев и растений мне неведомых, словно торжествующей в своей победе над гнётом творений рук человеческих, длящегося

¹⁵⁷ До души моей?

¹⁵⁸ Там.

тысячелетиями. Этот “сад” был миром моего отца, куда он отправился после своей смерти. Так я это тогда видел. Сейчас, когда перед мысленным взором моим – взором единственно верным, взором, которому можно верить (и ошибается Уин Батлер, когда поёт: «Everytime you close your eyes – lies, lies, lies...»), подпитанным воспоминаниями, предстает сад, он до жути кажется похожим на то, чем Ребеллион стал теперь, в пору моей старости. И схожесть эта одновременно пугает и забавляет.

Дверь в мир отца приоткрылась в тот миг, когда я, барабанив по столу, случайно наткнулся на потайное отделение в столе. Ударив по левой стойке, я услышал в ответ сперва глухой стук, за которым сразу последовал щелчок. Я взглянул туда, откуда раздались эти звуки. И увидел, что от стойки откинулась дощечка – размером примерно с лист А4 – откинулась, словно раз-верзлась пасть мифической и ужасной хищной твари. И в пасти той – остатки пережёванного прошлого человеческой жизни, застрявшие в зубах.

А если отбросить все метафоры, любовь которым мне привил отец и которая усилилась моим пребыванием в доме Кальви, то можно просто сказать, что за дощечкой скрывалось небольшое потайное отделение, где хранился, помимо всяких мелочей, очередной отцовский дневник.

Это была совсем небольшая красно-коричневая книжечка с погнутыми уголками, покрытая множеством мелких трещинок снаружи и множеством мелких букв внутри, которые сплетались в узор жизни человека, меня породившего; вернее, не целой жизни, конечно, а её отрезка с восемьдесят пятого года, когда он – совсем юный парень, бывший студент-философ, бросивший учёбу на втором курсе, только приехал в Ребеллион, преисполненный надежд, чаяний и планов и до двухтысячного, когда он давно уже стал известным писателем и главой семьи, испытывающим горькое разочарование от того, что происходит в республике, в его душе, в литературе и искусстве, в его способностях сохранять то, что обычно называют отвратительным словом «профпригодность».

Прочсть дневник в тот день мне не удалось. Стоило только раскрыть его, как вдруг, словно мне назло, откуда-то из недр дома вырвался дедушка. Я услышал его стремительные шаги, в которых сразу ощущалась жуткая, дикая, свирепая удивительная озлобленность – так, глядя на хмурое небо, можно с точностью предсказать, что пойдёт дождь. Удивительной его озлобленность казалась потому, что невозможно было представить, как человек может выносить столь тягостное чувство и не сойти с ума, не наложить на себя руки.

Я едва успел сунуть отцовский дневник (найденный в потайном отделении¹⁵⁹) под футболку и закрыть потайное отделение в столе – дед возник в дверях в следующее же мгновение. Он бросил на меня взгляд – взгляд пусть не свирепый (хотя, полагаю, дед себя ещё сдерживал), но полный возмущения. Чем был полон мой взгляд, я не знаю, у деда никогда не спрашивал. Однако я тоже был несколько возмущён. Дедушка мне представлялся человеком совершенно чужим, незаконно вторгшемся в мои владения, владения моей семьи, частью которой он для меня никогда не был. Всё тем же взглядом дед осмотрел кабинет. Книжные полки, стол, коробки, расставленные повсюду, виниловый проигрыватель. Он резко подошёл к нему и выключил. Музыка смолкла – будто кислород мне перекрыли, выдернув дыхательную трубку.

– Ты чего тут расшумелся?! – спросил дед злобным шёпотом, наклонившись ко мне.

Его вопрос мне казался столь нелепым, столь непристойным даже и неуместным, что я не находил вразумительного на него ответа. Вообще никакого ответа не находил. Я тупо уставился на него с лицом, вероятно, полным равнодушия и молчал. Его это злило. Он повторил свой вопрос. Но ответа так и не получил.

– Ладно, – сказал он, распрямившись. Голос его стал более спокойным, он глядел по сторонам. – Иди спать. Уже слишком поздно.

¹⁵⁹ Это был самый откровенный из его дневников. Неудивительно, что он находился в потайном отделении его стола.

Я встал из-за стола и направился было в свою комнату.

– Но сперва тут надо прибраться, – остановил меня дед. – Я тебе помогу.

Дедушка-сосна не был плохим человеком. Более того, он и по-настоящему злым-то человеком, мне кажется, не был. Он был лишь тем, кто слишком сильно любит свою дочь, если дочь (или любого другого близкого человека) действительно можно любить «слишком»¹⁶⁰. Все его действия, все решения исходили из той любви, как мне кажется, которая стала сильнее после того, как он потерял жену. Любовь к жене не могла исчезнуть бесследно. Любовь такой силы не исчезает. Она должна либо уничтожить человека полностью, либо навсегда изуродовать его, подобно тому, как столкновение на большой скорости корёжит (самый прочный) металл, либо перейти в какую-то иную форму. С дедушкой случилось именно последнее: он стал любить свою единственную дочь ещё сильнее. Хотя и так очень сильно любил её. В результате, конечно, любовь эта причиняла боль ей и её младшему брату. Последний чувствовал себя брошенным и всеми покинутым, а потому находил утешение в алкоголе, распутстве и искусстве – три столпа, на которых была построена его жизнь, на которые он, став зрелым человеком¹⁶¹, стал опираться. Он видел себя образцовым декадентом, без сожаления, но с диким хохотом восторга, сжигающим себя в пламени страстей во славу величия всепобеждающей силы искусства. Наверное, можно сказать, что он являлся не только образцовым (ну, почти) сыном своей родины, но и предтечей тому, чего мы в начале стремились добиться в доме Кальви¹⁶².

Дедушка на изменения в характере, поведении, в самой сущности своего сына видел его моральное падение и, конечно, строго осуждал его за это, не видя, однако, в том падении собственной вины. В голове дедушки попросту не возникало такой логической цепочки, что объясняла бы связь между его действиями и действиями сына, которые, суть, были всего-навсего ответной реакцией на действия отца. Такое положение вещей, вопреки неосознанным стремлениям моего дяди Сё, ещё больше отдалили его от отца, создав между ними непреодолимую пропасть. Дочь стала для дедушки единственным утешением. Он безмерно любил её. Любовь та всецело поглощала всё его естество и делала невозможным возникновение любви к кому-либо ещё, включая сына своей дочери. К тому же, он, как это часто бывает, не питал особой симпатии к человеку, что вознамерился когда-то взять в жёны его дочь¹⁶³. Дедушка-сосна родился в тысяча девятьсот сорок четвёртом году, в Гортусской империи, от которой, собственно, откололся в своё время Ребеллион, превратившись в конце концов в независимую республику. Для него – человека, обладавшего всеми чертами типичного гортусца, литература была искусством, несомненно, важным. Он любил читать стихи Блока и романы Хемингуэя. Но писатели представлялись ему небожителями и вообразить, будто один из смертных, живущих рядом с ним, шагающих по той же грешной земле, может стать частью священного пантеона, было просто невозможно. И поэтому каждый, кто занимался литературным творчеством казался дедушке либо глупцом, либо сумасшедшим.

– Твоей маме нужен покой, ты понимаешь? – спросил он меня, пока мы убирали коробки в шкаф.

Я кивнул.

– Поэтому нельзя по вечерам громко включать музыку, барабанить по столу и творить чёрт-те что.

Я хотел было возразить, мол, в таком большом доме маме вряд ли это доставляет беспокойство. Да и потом... а что плохого в музыке? Жаль я ему всего этого не высказал тогда. Было бы интересно послушать, что он ответит. Вернее, было бы интересно сейчас вспоминать его

¹⁶⁰ И, наверное, да, всё-таки можно.

¹⁶¹ Хотя, кто-то мог бы возразить мне, что по-настоящему зрелым он так и не стал.

¹⁶² Его влияние на дом Кальви я заметил слишком поздно.

¹⁶³ И даже смерть не могла здесь ничего изменить. Скорее наоборот, смерть (особенно *такая* смерть) лишь укрепляла дедушку в убеждённости собственной правоты.

ответ. Всё-таки невысказанное тяготит человека сильнее, чем высказанное. За редким исключением.

Мы покончили с уборкой, выключили в кабинете свет и разошлись кто куда: я в свою комнату, а он двинулся по коридору в сторону лестницы, ведущей на первый этаж. Перед сном я прочёл первые пять страниц отцовского дневника.

Глава 9

Через два дня я собирал вещи. Мы переезжали. Всё моё добро поместилось в одном рюкзаке и двух спортивных сумках.

Возле дома стояла машина. Туда я это всё и отнес. В дверях, возвращаясь к дому, столкнулся дедушкой.

– Помоги маме, – строго велел он мне, неся три больших коробки.

Дяди с нами в тот день не было. Он, как мне стало известно позднее, имел обыкновение исчезать неведомо куда в самый ответственный момент. Однако вещей у нас оказалось не так много, ведь мы брали только самое необходимое, не было нужды тащить всё подряд. Так что справились и без дяди. Мама не желала оставаться в стороне, но для неё это оказалось непростой задачей, ибо стоило ей только что-нибудь взять, как тут же подбегал запыхавшийся, покрытый испариной дед, и забирал у неё даже самый незначительный груз.

– Ничего не знаю, – говорил он, когда мать пыталась возразить ему и отстоять своё право самостоятельно донести хоть какую-нибудь мелочь до машины, вырывал у неё из рук эту вещицу и нёс её сам. Если же он не успевал, то посылал меня на помощь, не думая о том, что я мог собираться это сделать и без его указки. Дед был из тех людей, кто считают, будто шар земной перестанет вращаться, если они ему не напомнят, что вращаться необходимо, потому что иначе... ну и далее по тексту громогласной, многословной и якобы логично обоснованной тирады.

Мама стояла в холле возле лестницы и ощупывала тоскливым¹⁶⁴, туманным взглядом гостиную. В ногах у неё стоял большой чемодан. Руки она держала перед собой, сцепив пальцы. Я подошёл к ней и молча потянулся к чемодану.

– Оставь, оставь, – тихо сказала она и слегка махнула рукой, заметив это.

То были едва ли не первые её слова мне со дня похорон отца. И они меня растрогали. Она подняла чемодан и вышла из дома. Я теперь занял её место – стоял и с тоской¹⁶⁵ осматривал гостиную, видя перед собой все те моменты, что мы провели в ней вместе всей семьёй. Не так уж много оказалось этих моментов. Но это всё, что осталось. И их следовало беречь. Я это знал, я это чувствовал. Уже тогда. И чувствовал, что теряю что-то ещё, кроме того, что было безвозвратно потеряно. С улицы доносились шаги матери и ворчание деда. Он забрал у неё чемодан и сам положил его в машину.

«Мы совершаем ошибку», – хотел сказать я матери. Но когда меня окликнули, вся решимость куда-то пропала. Я послушно сел в дедушкин «ситроен» и всю дорогу не проронил ни слова. В ушах у меня были наушники. Эллиотт Смит пел мне свои печальные песни.

Дом дедушки находился довольно далеко от центра Ребеллиона и от нашего дома. Он жил ближе к железнодорожному вокзалу, на улице Михаила Майзера.

Это был скромный, бледно-жёлтого цвета деревянный коттедж с мансардой, который мне сразу же не понравился. Вид его отчего-то навевал тревожные мысли, внушал чувство опасности. Хотя на самом деле ничего такого там нельзя было обнаружить, как ни старайся, ибо строение то представляло собой торжество обыденности и стремление не выделяться на общем фоне. Ирония же в том, что я и не старался ничего там обнаружить. Всё случилось мгновенно:

¹⁶⁴ Ибо тоска – она повсюду.

¹⁶⁵ Ибо тоска – она повсюду.

я бросил взгляд на дом – увидел его таким, каков он есть – и сердце тут же беспокойно забилося, будто колокол, извещающий горожан о пожаре, а значит, о необходимости спастись. Это был диалог глаз, души¹⁶⁶ и сердца. Итогом его стала как раз та самая необходимость спасения¹⁶⁷. Я знал и тогда, что нужно спастись. Но как? Разве мог я что-то сделать? Я был бессилен. И потому поддался хаотичному течению жизни, которое несло меня напрямик к опасности.

– Ну, что ж, добро пожаловать, – сказал дедушка, распахнув перед нами двери.

Мы вошли внутрь. И наши жизни переменялись навсегда. Как тучи накрывают небо, так и переезд накрыл карту судеб¹⁶⁸ оставшихся членов семьи Миллер. Ждать, когда тучи рассеются, пришлось довольно долго.

Дом встретил нас псевдоуютным полумраком, а также типичным для жилища одинокого старика (исключая нынешнего меня, разумеется) чётким, пожалуй, даже нарочитым, броским, стойким осознанием того, что есть жизнь, какой она должна быть и что в ней выражает данное место, занятое конкретным человеком, который вскоре навсегда покинет этот мир. От узкого коридора как щупальца тянулись в разные стороны комнаты – большие и маленькие, тесные и просторные, светлые и мрачные, душные и проветренные свежим (или кажущимся свежим нам – детям давно торжествующего урбанизма) воздухом, загнанным человеком в мир сугубо людской через большое окно, словно через некий волшебный портал. И флагом развеваются тонкие сиреневые занавески – в память о тех, кто стал ветром и сможет вернуться, лишь незримо ворвавшись сквозь открытое окно.

Комнаты были заставлены утварью и предметами разной степени полезности. Те, что наиболее полезны и необходимы человеку находятся в состоянии довольно плачевном. Всякие же безделушки (такая характеристика наверняка бы оскорбила их гордого обладателя), развешанные на стенах, выставленные в специальных постаментах (включая коридор, где и без того было не слишком много места), которые обычно можно увидеть разве что в музеях.

Мне отвели спальню в мансарде. Раньше там спал дед. Туда с большевистской безжалостностью его сослала бабушка после того, как участились случаи продолжительного, чрезвычайно громкого храпа. Терпеть это на старости лет у неё сил уже не оставалось; покидать любимую постель в любимой спальне на первом этаже она тоже не собиралась. Во многом потому, как предполагал дед в своих воспоминаниях, что подниматься по лестнице каждый вечер и спускаться каждое утро было для неё к тому времени слишком тяжело. Для деда тоже.

– Но мужчина на то и мужчина, – говорил он мне потом, примерно через полтора года после нашего к нему переезда во время уборки на заднем дворе, – чтобы сберечь свою женщину от напастей этого мира. Так что приходится порой делать то, что в других обстоятельствах делать ни за что бы не стал.

Дед любил чистоту и порядок. Уборка сплотила нас. Насколько это вообще было возможно. То есть слово «сплотила» здесь, конечно, не совсем уместно. Правильней будет сказать, наверное, что благодаря уборке мы могли говорить друг с другом искренне, открыто, а не обмениваться упрёками, обидами, колкостями; благодаря уборке мы в глазах друг друга действительно становились людьми, а не препятствиями на пути к желаемому.

Спальню на первом этаже дед отдал, само собой, моей матери, а сам переместился в гостиную, где, я уверен, он прекрасно себя чувствовал среди материального выражения почёта, оказанного ему обществом в ответ на преданное и беззаветное служение, среди бронзовых, серебряных и золотых медалей, медалей из металлов менее благородных, бог знает каких медалей, полученных им в награду за «верную службу на благо республики», «проявленное в действиях гражданское самосознание и ответственность» и т.д. и т.п., и среди торжественных гра-

¹⁶⁶ Души?

¹⁶⁷ Потребность в спасении.

¹⁶⁸ Хотя я не люблю это слово.

мот, конечно, висящих на стенах и заключённых в рамки, в ряды которых затесалась бумага, лишённая всякой торжественности, покрытая голубым туманом кучерявых буквенных завитушек, оставленных чьей-то рукой.

«И не “чьей-то”, – громогласно возразил бы дед, будь он сейчас здесь, – а самого председателя департамента социального сектора и гражданского самоуправления Заки Тасманова! – и в воздух наверняка многозначительно был бы поднят сухой, морщинистый, желтоватый палец.

Та неприметная бумажечка, как я узнал в дальнейшем, была (коротким) письмом того самого Заки Тасманова – личности, между прочим, крайне неоднозначной – написанным моему деду после того, как тот... что же он сделал?.. Здесь меня уже моя блестящая память подводит, не добирается она до таких глубин, не позволяет различить столь мелкие детали. Дед много чем занимался на добровольных началах. Например, организовал работу народной дружины, что было так очень в духе тогдашнего и изначального Ребеллиона, Ребеллиона классического, можно сказать, Ребеллиона, в котором децентрализация и гражданские формирования самых различных толков, преследующих самые различные (главное, что благие) цели, являлись, на мой взгляд, основой всего. Дружина деда... хотя «дружиной» они себя никогда не называли, не знаю, почему ко мне так пристало это слово... На самом-то деле они были «кардиналами чести и воспитания» (в народе их позже станут называть просто: «Качество»¹⁶⁹) и занимались, в основном, «охраной порядка» (их собственное определение). Следили за тем, чтобы жители района младше восемнадцати лет не разгуливали по округе после 23:00 (они, я помню, получили даже предписание от кого-то из самых высших чинов, позволяющее им осуществлять проверку документов; правда, обходилось чаще всего без неё), занимались уборкой мусора, помогали престарелым, одиноким и малоимущим гражданам (дед был самым старым представителем своей дружины¹⁷⁰; возраст остальных её членов, как правило, варьировался в диапазоне от тридцати пяти до пятидесяти пяти лет. Некоторые из них привлекали к работе дружины своих детей, поэтому можно было иногда встретить среди дня и совсем юных парней и девушек, удручённых своей участью, сонно разгуливающих по улицам в синих футболках с белым принтом в виде филина¹⁷¹, не особо-то жаждущих служить на пользу обществу; со временем их становилось всё больше; в какой-то момент и мне пришлось к ним примкнуть), следили за тем, чтобы никто, собственно, не нарушал порядок; что бы это ни значило. Если кто-то поздно ночью или рано утром (а такое тоже бывало) громко включал музыку, если в каком-то из домов слышались крики и ругань, если кто-то пьяным пытался сесть за руль (или вполне успешно осуществлял такую попытку), то тут же наведывалась дружина... ой, вернее, «Качество», конечно, и, собственно, «вершили правосудие» (в том виде, в котором они его понимали). Виновных наказывали (но это, само собой, лишь фигура речи, уместность употребления которой заключена в будущей деятельности «Качества»; в те-то годы обычно всё проходило крайне мирно. Мне вспоминается, например, вполне типичный (для «Качества») случай, когда какой-то не слишком ответственный гражданин, будучи в состоянии весьма сильного алкогольного опьянения, сел за руль и пытался завести двигатель. В этих попытках его и застали дружинники «Качества» (не могу почему-то не называть их дружинниками). Они высадили водителя из машины. Вернее, пересадили на заднее сиденье. Двое дружинников сели рядом с ним, умиряя его недовольство, а третий занял место водителя. Нарушителя доставили домой в целости и сохранности, аккуратно припарковав машину у подъездной дорожки, завели его в дом, передав прямиком в руки заботливой супруги, а ключи от машины передали лишь утром.

¹⁶⁹ И название это так понравится им самим, что в какой-то момент они примут его в качестве официального.

¹⁷⁰ Ну, вот я опять их так называю!

¹⁷¹ Любезно предоставленными членом «Качества» Торнетом Штрагиди, тридцатисемилетним владельцем рекламного агентства «Штрагиди и ко»

В общем, работы им хватало. Ведь район вдали от центра, близ железной дороги и ряда промышленных объектов, благополучным явно не назовёшь.

Письмо Тасманова моему деду я тоже плохо помню. Но оно было предельно комплиментарным, весьма тёплым, почти отеческим, или скорее братским – это точно. Так мне во всяком случае вспоминается, хотя содержание письма ускользает от меня, подобно тому, как если бы я стремился прочесть написанное на листе бумаги, упавшим в реку.

Дед не питал к Ребеллиону большой любви – Ребеллиону в его изначальной форме, что ещё сохранялась в начале двухтысячных годов. Ему казалось, что «чрезмерная свобода, если куда и ведёт, то исключительно к хаосу. Хаос есть отсутствие порядка, а отсутствие порядка есть гибель народа». Но несмотря на это дедушка-сосна высоко ценил присуждаемые награды, так как действительно со всей искренностью, на какую только был способен, любил район, в котором провёл последние тридцать пять лет своей жизни. Район и его обитатели отвечали ему тем же. Никаких противоречий дед в данной связи не испытывал. И это, на мой взгляд, ничуть не удивительно, не странно. Ибо самые невероятные противоречия вполне гармонично уживаются в одной голове, в одном сознании. Такова суть человеческая¹⁷².

В мансарде я был совсем один, за исключением тех (не слишком частых) дней, когда совершенно внезапно, словно бы из ниоткуда заявлялся дядя Сё. Он влетал в дом стремительнее ветра, пребывая в состоянии (на вид) беззаботном и вместе с тем необычайно сосредоточенном, погружённом в какое-то воспоминание, судя по всему, довольно приятное, хотя в большей степени, конечно, ставящее в тупик, требующее какого-то осмысления. Обычно на ходу дядя что-нибудь жевал (орешки, чипсы, что-нибудь подобное) и, никого не замечая, никого не приветствуя, не сообщая вообще ни о чём, он поднимался по лестнице в мансарду, где, как он прекрасно знал, его всегда ждёт пусть и скромная, но зато собственная, отдельная, весьма уютная, хорошо обставленная комнатуха, где есть всё необходимое, где можно отдохнуть и уединиться со своими мыслями и, вероятно, накопленными впечатлениями.

Комната дяди располагалась в конце коридора. Моя, соответственно, ближе к лестнице. Скорее даже слишком близко к ней¹⁷³. А между дверьми, ведущими в наши спальни, затесалась дверь, ведущая в тесную ванную комнату. Стены коридора были покрашены худшим цветом, который только можно подобрать для отделки собственного дома¹⁷⁴ – цветом осквернения природы, то есть грязно-зелёным, болотистым, как его ещё называют некоторые люди, цветом листа берёзового банного веника, цветом, что выражает победу грязи, нечистоты над естественной красотой природы. От того-то так тоскливо¹⁷⁵ бывает видеть стены (или вообще что угодно), покрашенные таким цветом. Ведь получается, всё, даже самое прекрасное, всегда можно, если не уничтожить полностью, то во всяком случае хотя бы осквернить, испортить. И подобное положение вещей, без сомнений являющееся частью мироздания, вызывает в душе¹⁷⁶ человеческой нечто, обычно называемое (мною, по крайней мере) тоской¹⁷⁷, за неимением лучшего, более точного и лаконичного термина, описывающего состояние всепоглощающей грусти и бессилия от невозможности исправить несправедливость, устранить ошибку, сделать мир более совершенным и правильным.

Краска на стенах в некоторых местах вздулась, где-то покрылась трещинами, а где-то и вовсе отвалилась целыми кусками, обнажив белые, бесконечно усталые кости этого древнего

¹⁷² Но дело тут, как мне кажется, ещё в невероятно раздутом его эго. Деду было важнее всего то, что его благие деяния (а они в его глазах иными быть и не могли, конечно же) оцениваются по достоинству.

¹⁷³ Или это я уже придираюсь?

¹⁷⁴ Недовольство таким цветовым решением разделяла со мной, как я узнал позже, моя покойная бабушка. Но поделать она с этим ничего не смогла.

¹⁷⁵ Хотя, тоска она всё равно повсюду.

¹⁷⁶ В душе?

¹⁷⁷ Как же иначе!

гиганта, в коем некогда поселились и с тех пор изводят его мелкие, назойливые, суетливые блошки, что зовутся «homo sapiens». Деревянные панели в нижней части стен покрывались пылью, царапинами и грязью; в иных местах их тоже не хватало, как зубов в челюсти у хоккеиста.

Комната, где мне предстояло провести следующие четыре года¹⁷⁸ своей жизни, оказалась вдвое меньше и мрачнее моей прежней комнаты, к которой я привык и прикипел душой¹⁷⁹, ведь провёл там, к тому моменту, всю свою жизнь. Я там родился, я там вырос и продолжал расти. А тут вдруг меня вышвырнули оттуда, привели в новый мир. Это было моё второе (но далеко не последнее, пожалуй) рождение.

Большое и единственное окно, занавешенное каким-то старым, серым брезентом (или чем-то в этом роде), прибитым гвоздями к стене (в те редкие моменты, что наступят не скоро, когда оно не было им занавешено, то есть когда один край брезента цеплялся за торчащий гвоздик к другому, открывая таким образом доступ солнечному свету, в такие вот моменты казалось, будто окно стремится поглотить пространство внутри комнаты – настолько большим оно являлось, слишком большим для столь маленького помещения), находилось прямо напротив двери, и это было первое, что ты видел, заходя в комнату. Слева в углу – односпальная кровать. Справа – самый простецкий тёмно-коричневый письменный стол, приставленный к стене, а справа уже от него, в углу, что представлялся самым тёмным, стоял комод – комод такого же цвета, как и стол, но, видимо, более старый, чем сам стол (хотя, кто знает? Не я уж точно). У него была поломана ножка и ей на замену приспособили смятую алюминиевую банку из-под вишнёвой газировки. На полу, в самом центре комнаты, лежал круглый ковёр с полосками разного цвета, идущими от края к центру (или от центра к краям?), из-за чего он напоминал мишень для стрельбы. Из потолка торчала люстра, которая потакала общему строгому минимализму и состояла из одного только оранжевого плафона в форме неизвестного мне (и наверняка даже тому, кто его сделал) цветка. Вслед за ним из черноты вырезанного в потолке круга диаметром, вероятно, больше пяти, но меньше десяти сантиметров, открывшаяся благодаря тому, что кто-то не слишком хорошо закрепил люстру (и вероятно, не особенно старался), тянулись бежевые толстые и длинные провода. Вся эта композиция напоминала мне голову Медузы Горгоны. И взглянув на неё впервые, я понял: если не весь целиком, то что-то во мне точно обратилось в камень.

Я вошёл внутрь и закрыл за собой лёгкую, почти невесомую дверь. Раздался грохот. Я вздрогнул от неожиданности. Включил свет. Оглядел всё вокруг. И стал разбирать свои пожитки. Книжки да тетрадки стали стопками загромождать стол; одежда заполнила ящики комода; что-то отправилось на подоконник, а что-то навсегда оказалось обречённым лежать в коробках. Участь эта постигала, как правило, те предметы, которые не подлежали ежедневному, а подчас и хотя бы ежемесячному использованию, либо те, которые я стремился скрыть от глаз посторонних людей. Посторонними я считал всех в этом доме.

Первый день... нет, первый месяц, первый год был самым худшим. Ибо в начале всегда тяжело. А уж в начале начал и подавно¹⁸⁰.

Я ещё не закончил разбирать вещи, как в комнату без стука вошёл дед. Он стоял, широко расставив ноги, оперев руки в бока, и с улыбкой, преисполненной самодовольства, осматривал комнату медленным поворотом головы от левой стены к правой.

– Ну что? – бодро спросил он, глядя теперь на меня. – Уже обустроился?

¹⁷⁸ Четыре ведь? Точно не помню. Могу путать.

¹⁷⁹ Душой?

¹⁸⁰ Так что стоит, наверное, говорить именно про день.

– Угу, – как обычно буркнул я и демонстративно, с нарочитой театральностью, на какую только был способен, принялся и дальше вытаскивать из сумок и коробок вещи, складывая их стопками и кучками рядом с собой на кровати.

Улыбка медленно сползла с лица дедушки. Он сказал:

– Мне нужно, чтобы ты ровно через пять минут спустился вниз. Мы с тобой кое-что обсудим¹⁸¹.

Я появился у лестницы минут через десять. Дед же, скрестив руки, сдвинув брови, стоял напротив лестницы, спиной к входной двери.

Дальше он начал читать мне длинную лекцию о том, как важно приходить вовремя куда бы то ни было. А я всё слушал, слушал и не мог взять в толк, зачем он мне объясняет столь очевидные вещи, которые мне и без того известны. Я ему вроде бы об этом даже сказал. Не потому, что хотел оскорбить его, задеть или как-то дерзнуть. Мне правда было невдомёк, в чём смысл такой беседы. Но дед от моих слов совершенно расвирепел.

– Я говорю об этом, потому что ты опоздал! Я велел в течение пяти минут явиться сюда, а в итоге ждать тебя пришлось куда дольше. Выходит, твоё время дороже моего?! Так ты считаешь?! – он всё кричал и кричал¹⁸², возмущался, размахивал руками, расхаживал из стороны в сторону, всячески изгалялся, стремясь пристыдить меня, убеждая меня же самого, каким непристойным, непозволительным и неправомерным даже является моё поведение. Он зачитал мне целый инструктаж о «правилах этого дома», которые необходимо соблюдать. «Правила», в основном, содержали в себе необходимость поддержания порядка (а «порядок» – это не только чистота повсюду, это ещё и тишина, а также беспрекословное подчинение младшего старшему; последнее означало для меня, как самого младшего жителя дома, что «порядком» может стать вообще всё, что только заблагорассудится самому старшему жителю дома, по совместительству его хозяину, то есть моему дедушке) и перечень обязанностей, возлагаемых на мои ещё не мужские, но уже не детские (?) плечи.

С той поры каждый день в точности повторял предыдущий. Я просыпался в шесть утра и шёл в кухню. Готовил для всех (то есть, как правило, для себя и деда, потому что мама не ела по утрам, а дядя чаще всего отсутствовал; если же он и бывал в доме, то просыпался только к тому времени, когда я уже возвращался из школы¹⁸³, да и ел он вечно всякую гадость, которую достаточно лишь развернуть из фольги или целлофана¹⁸⁴) завтрак. Целое расписание относительно завтраков существовало у дедушки; оно висело на двери одного из верхних шкафчиков, того, что слева от плиты:

Понедельник – среда – английский завтрак (красная фасоль в томатном соусе, два жареных яйца, жареные колбаски, жареные шампиньоны, два жареных тоста с маслом, чашка кофе с молоком и сахаром)

Четверг – суббота – русский завтрак (рисовая каша на молоке, оладьи [позднее, когда я отточил свои кулинарные навыки, были заменены на сырники], чёрный чай с лимоном и сахаром).

¹⁸¹ Я так и не сумел понять, почему нельзя было сразу на месте обсудить всё, что ему хочется.

¹⁸² Много позднее, однако, дядя Сё, во время нашей с ним беседы, посвящённой как раз моим первым дням в их доме, заявил, что на самом деле дед лишь слегка повысил голос, а вовсе не кричал. Якобы всему виной моя изнеженная чересчур деликатным обращением натура, никак к тому времени не соприкасавшаяся с деспотизмом; и от того, грубоватая, резкая манера дедушки изъясняться показалась мне предельно оскорбительной и неприемлемой. И с этим, вероятно, можно было бы согласиться. По крайней мере, такая версия имеет право на существование. Но я сказал ему тогда – и теперь считаю, что был абсолютно прав, более того, я, пожалуй, осмелюсь признать, что горжусь столь мудрым, остроумным и точным ответом столь юного человека – я сказал, дескать, если и имело место какое-либо искажение в восприятии, то страдал от него явно не я, а человек, который провёл слишком много времени в этом доме, и потому обращение действительно предельно (ладно, может, «предельно» – это слишком сильно сказано, но всё же) оскорбительное кажется ему чем-то не только привычным, но и единственно возможным вариантом межличностного взаимодействия.

¹⁸³ А иногда и того позже.

¹⁸⁴ Или и того, и другого.

В воскресенье я мог не готовить завтрак при условии, если освободившееся время тратил на «по-настоящему полезное, толковое занятие».

– Валяться в кровати и слушать музыку, – говорил дед, – книжки свои дурацкие читать да в тетрадки всякую чушь записывать – это как раз пример самых бесполезных занятий. Так что займись лучше делом¹⁸⁵.

После завтрака я должен был вымыть посуду, затем, в зависимости от обстоятельств, времени года, настроения деда и многих других факторов, я мог выполнять самые разные поручения: от чистки обуви до уборки листьев во дворе, от чтения вслух утренней газеты «Пороховая бочка»¹⁸⁶ (дед плохо видел, а по утрам вечно не мог найти свои очки, да и не любил он их искать с утра, раздражали его эти поиски; начинать же свой день без новостей он считал своего рода плохой приметой¹⁸⁷, потому просил меня прочесть ему главное: я зачитывал всё подряд, а он уже решал, что для него важно, а что нет, раздражённо прерывая меня своим рыком¹⁸⁸: «Дальше!» на полуслове, иногда ещё прежде, чем я успевал дочитать заголовок) до помощи соседке – одинокой старушке, чьё имя мне ни за что не вспомнить (что-то на «Ф», кажется), но зато чью не сползающую с лица улыбку и блеск в глазах забыть просто невозможно. Любопытная была женщина, конечно, необычная, своеобразная. Не такая, как все. Теперь мне понятно, чего дед к ней так привязался и вечно гонял меня то пакеты ей помочь донести из магазина, то телевизор настроить, то ещё что... Но как же, интересно, так вышло, что она осталась совсем одна на старости лет? Об этом я её не спрашивал. Да и разве мог я позволить себе подобную бестактность? Заявиться в дом к этой доброй и славной бабуле и выдать с порога нечто вроде:

– Здравствуйте, фема¹⁸⁹ Ф.! А почему вы совсем одна? Где ваши дети, внуки? Почему они вас совсем не навещают?

Такое и вообразить-то страшно! Я бы со стыда сгорел наверняка, если бы каким-то чудовищным, дьявольским (да, в подобном исключительном случае я готов поверить во вмешательство сил вселенского зла) образом слова эти слетели с моих губ. Столь сильный стыд пожирал бы гипотетического меня не только потому, что я знаю, я убеждён, что нельзя задавать человеку вопросы личного характера, если вы недостаточно близки, а если близки достаточно, то нужно быть уверенным, что вопрос ваш не доставит ему слишком больших неудобств, слишком сильного дискомфорта, а потому, что я знаю (ну или думаю, что знаю, разумеется) ещё и то, что фема Ф. в ответ на подобные вопросы не разозлилась бы, не стала бы кричать и ворчать, грубить в ответ. Она посмотрела бы на меня с тоской¹⁹⁰ в глазах, особенно сильно в такой миг напоминая бледный фантом¹⁹¹, что спешно, да и воровато как-то, я бы сказал, пронёсся по некоему отрезку моей жизни, фантом, каким Ф., собственно, и являлась (как и все впоследствии, но она одной из первых оставила о себе такое впечатление), тяжело бы вздохнула, слегка улыбнулась, села в своё любимое кресло в красно-белую полоску и начала бы рассказывать. Так делают все не лишённые тепла и доброты старики, так делаю я (хотя вряд ли кто-нибудь назвал бы меня сейчас добрым), правда, рассказывать мне некому; приходится рассказывать

¹⁸⁵ Каким именно делом нужно заняться, он не уточнял, но вполне можно догадаться, что это были какие-нибудь дела по дому: готовка, стирка, глажка, уборка и прочее.

¹⁸⁶ В народе просто – «ПБ»

¹⁸⁷ Сам дед не говорил об этом именно так, но чтение новостей с утра было для него важным ритуалом, вне всяких сомнений. И если этот ритуал не удавалось соблюсти (а случалось всё же и такое), ему становилось не по себе.

¹⁸⁸ При этом он делал характерный жест: взмахивал ладонью, будто небрежно перелистывал страницу. И тогда страница действительно перелистывалась, словно по волшебству. Только никакого волшебства не было.

¹⁸⁹ Фема, феми – общепринятое в республике Ребеллион обращение к женщине.

¹⁹⁰ Ибо тоска – она повсюду.

¹⁹¹ Напоминая, разумеется, уже сейчас, когда я обращаюсь к этим воспоминаниям спустя много лет, будучи сам стариком, который к тому же остался совсем один.

самому себе¹⁹², дабы не потерять всех этих мгновений и напомнить себе лишний раз, каким ужасным я был человеком, какую никчёмную я прожил жизнь.

К семи утра я обычно расправлялся со всеми возложенными на меня поручениями и шёл в свою комнату. Там я переодевался в школьную форму, хватал с вечера подготовленный рюкзак и спешно выходил из дома.

Около двух недель я продолжал посещать свою прежнюю школу. Но потом всё же сдался и согласился сменить её. Слишком уж далеко находилась моя старая школа. Добираться до неё на автобусе оказалось не так просто. Путь только до остановки был не самым близким. Ждать автобуса чаще всего приходилось долго, да и ехать до школы – тоже. А сам автобус был обычно переполнен рабочими (их отличала какая-то необыкновенная серость всего обличия; носи они цветные, яркие одежды, те всё равно казались бы на них серыми; эти люди, с бездонной тоской¹⁹³ в глазах, словно присыпанные пеплом, все, как один из массовки «Мертвеца» Джима Джармуша, они пугали меня и в то же время вызывали сочувствие; мой страх перед ними был на самом деле страхом и ужасом от того, насколько жестокой может быть жизнь), стариками, что напоминали измятые газеты – такие своего рода урбанистические перекасти-поле, встречающиеся порой в Ребеллионе тут и там – и как газеты покрывают узоры чернильных строчек и абзацев, так стариков покрывает причудливый узор прожитых лет, который, подобно форме снежинки, никогда не повторяется, но отчего-то всегда предстаёт каким-то мрачным... может дело в том, что не бывает иначе у тех, кто с утра ломится в душный, дряхлый и битком набитый автобус, дабы успеть куда-то, зачем-то... а может просто жизнь слишком тяжёлое испытание для всех нас. Ну или я смотрел на них таким образом. Хотя в первые дни видел лица, тела, руки и ноги какими-то обрывками, они мелькали передо мной и тут же исчезали, их разбавляли рваные куски пейзажа за грязными стёклами, что с трудом удавалось выхватить. Голова шла кругом от всей этой франкейнштейноподобной повседневности, сшитой нитями судеб неведомо огромного количества людей, приведённой в движение моим сознанием, отравленным скорбью и меланхолией.

Вторая неделя подарила мне возможность узреть автобусное бытие во всей красе, узреть мир взрослых, раздавленных жизнью, униженных и оскорблённых, и привело это в конце концов к решению (необычайно для меня трудному) перейти в другую школу. Первым об этом узнал Роберт. Несмотря на то, что в те дни он как раз начал куда-то пропадать (куда именно – мне станет известно позже). Раньше мы, если и прогуливали уроки, то всегда вместе¹⁹⁴. А тут, придя в школу, я мог вдруг натолкнуться на отсутствие Роберта. И меня он не предупреждал, причин не объяснял¹⁹⁵.

Но вечно прогуливать всё равно не получилось бы, поэтому в определённый день он столь же внезапно появлялся в классе.

– Ты где пропадал? – спросил я его как-то раз в качестве приветствия.

Мы пожали друг другу руки, Роберт загадочно улыбнулся и сказал:

– Да так, дела были... А ты как, чего?..

И я ему рассказал о переезде к бабушке, о том, что происходило с матерью и почему нам пришлось переехать, об отношениях с бабушкой и о своих долгих и тяжких поездках на автобусе.

– Не могу я больше, – жаловался я на перемене. – Придётся мне, видимо, сменить школу. Роберт взглянул на меня с подозрением и тревогой.

¹⁹² Однако какое-то странное, параноидального оттенка чувство начинает у меня возникать – будто есть кто-то, кому я это рассказываю. Кто-то незримый, бестелесный. Но нет, нет, глупость, полная глупость. Надо постараться поскорее забыть об этом.

¹⁹³ Надо ли говорить, что тоска – она повсюду?

¹⁹⁴ Ну, почти всегда, в большинстве случаев.

¹⁹⁵ И это было мне в новинку.

– Но ты же вроде сказал, что переехал к деду временно... – подметил он.

– Да-а, – подтвердил я. – Только мне теперь кажется, что это всё была брехня с самого начала.

Мой друг задумчиво молчал¹⁹⁶, и когда мы уже садились за парту, готовясь к началу урока, он сказал:

– А на кой чёрт тебе вообще оставаться в том доме? У тебя ведь есть свой дом.

– Свой дом?

– Ну да! Дом твоего отца. Он по праву принадлежит тебе. Разве нет?

– Ага. Только вот кто мне позволит жить там одному? К тому же, я не могу оставить маму одну.

– Так, погоди-ка, – Роберт вытянул ладонь, зажмурился и слегка откинулся назад. – Я чего-то не пойму. – он предпринял ещё одну (последнюю) попытку всё осмыслить, но вскоре сдался. – Какая-то это херня, нет? – поинтересовался он.

– Что именно? – уточнил я.

– Вы к деду переехали, насколько я понял, для того чтобы мама твоя одна не оставалась, чтобы не случилось чего... опять. И типа... вот. Дед есть. Её папаня. Он о ней позаботится. Гораздо лучше, чем ты. Мужик на опыте, блин. Справится.

Роберт сидел теперь прямо, глядел на меня ясными глазами, ожидая моего ответа. Я глядел куда-то в сторону, скрестив руки, обдумывая его слова, взвешивая доводы. Роберт ждал. Прозвенел звонок на урок. Все засуетились, стали собираться в классе, занимать свои места. Учителя ещё не было.

– Ну да, – подытожил я, – верно ты говоришь, пожалуй.

– Верно, конечно! – сказал он со смешком, а затем продолжил серьёзно: – Послушай, мы ведь с тобой всего-навсего пацаны-бродяги, – он говорил это с какой-то грустью и сожалением в голосе; в тот миг молнией вспыхнула в моей голове мысль о том, что ему не терпится повзрослеть; вспыхнула – и тут же угасла. Мне странным (?) показалось такое стремление, но я ничего ему об этом не сказал, не желая перескакивать с одной темы на другую¹⁹⁷. – Мир принадлежит тем, кто повыше, у кого борода густая. А нам остаётся только наблюдать...

– И смиренно ждать своего часа, – продолжил я. – Вот именно. В том-то и дело. Дед мне просто не позволит вернуться домой. С этим я пока ничего не могу поделать. Но идея, конечно, неплоха.

В класс вошёл учитель. Мы прервали наш разговор и больше к нему не возвращались. Кто бы знал, что нам после этого не удастся толком поговорить ещё очень долго.

В своих суждениях я тоже оказался прав. Дед действительно не позволил мне вернуться домой.

– Знаешь, – сказал я ему спустя примерно полгода со дня переезда, – я бы хотел на некоторое время вернуться домой.

Мы вдвоём сидели в столовой за длинным, тёмно-коричневым обеденным столом. Дядя ел у себя, забрав в комнату всё необходимое, а мама уже покончила с ужином и тоже отправилась в свою комнату. Дедушка-сосна глядел в тарелку, сосредоточенно орудовал ножом и вилок, нарезаая на мелкие кусочки жареное мясо и молодой печёный картофель. Был поздний вечер. За окном стемнело. Тусклый одинокий фонарь храбро боролся с тьмой, но был явно обречён. От этого становилось несколько тоскливо¹⁹⁸. Вечера всегда обретают кисловатый привкус тоски, если смотришь в окно. Смотреть в окно, однако, лучше, чем смотреть на деда. Ведь тоска, возникающая от вида из окна, порождает желание прогулять занятия в школе накануне,

¹⁹⁶ А значит, дело уж точно было серьёзно.

¹⁹⁷ Да и Роберт наверняка сказал бы, что я чушь несу какую-то.

¹⁹⁸ Ведь тоска – она повсюду.

а желание прогулять занятия есть стремление к свободе, подобно тому, как даже вырванная страница из книги навсегда остаётся её частью. Стремление к свободе, пусть и с минорным, отнюдь не торжественным окрасом, в свою очередь, является проявлением самого благородного и возвышенного из того, чем наполнено нечто, именуемое душой человеческой¹⁹⁹. Облик же деда с его злодейской худобой²⁰⁰, острыми широкими плечами и постоянно напряжённым лицом будил во мне (не скажу за других) совершенно иррациональные²⁰¹ фаталистичные, едва ли не религиозные предчувствия наступления чего-то inferнального. Удивительно, в какой-то степени забавно, наверное, но эти предчувствия стали явью, они сбылись.

– Домой? – дед выразил замешательство, сдвинув брови и оторвав взгляд от тарелки на мгновение, уставившись куда-то в сторону. Я уверен, что это было наигранно, ибо за ним таких повадков не наблюдалось. Он мне тем самым хотел продемонстрировать, будто у меня вовсе нет и не может быть дома, кроме того, в котором я тогда находился вместе с ним, то есть его дома. – Ты хочешь сказать?..

– Да, к себе домой, где я родился и вырос, где умер мой отец.

– Не думаю, что это хорошая затея, – отрезал он, и вновь уставился в тарелку.

Примерно так закончился наш разговор с дедом. К нему мы тоже не возвращались.

Но в беседе с Робертом я оказался прав ещё и в том, что идея его действительно была неплоха. И я не собирался от неё отказываться.

¹⁹⁹ Душой?

²⁰⁰ Злодейской худобой его лица – так будет правильней.

²⁰¹ Осознание их иррациональности, правда, не особо помогало справляться с ними и последствиями, которые они с собой несли в виде страха и предельного ужаса, захлёстывающих меня волной, наполняющих сердце, как ветер наполняет парус, заставляя двигаться вперёд; и ужас заставлял меня двигаться – прямиком к преждевременной (если всякую смерть не считать преждевременной) смерти.

Глава 10

В новой школе, как это обычно всегда случается, у меня не задалось с самого начала. Да, про автобусы я мог забыть, добирался пешком за пятнадцать минут, что позволило мне чувствовать себя хоть немного лучше; да, учителя оказались не самыми плохими, во всяком случае, не хуже, чем в старой школе, по которой я, пусть и немного, но всё же скучал. Однако на этом относительные плюсы заканчивались.

А вот разного рода неприятности лишь множились.

Началось всё с того, что учителя в новой школе знали, кем был мой отец²⁰², ²⁰³. Кто-то просто слышал о нём, кто-то читал его книги, кто-то видел его воочию во время редких встреч с читателями, а кто-то знал тех, кто был близко с ним знаком, а кто-то знал тех, кто знал тех, кто был близко с ним знаком... Так или иначе, многие (особенно в первые дни моего пребывания в новой школе) считали своим долгом задержать меня после урока, выразить соболезнования (что довольно любезно, по-своему трогательно, не стану отрицать) и поведать мне историю знакомства с прозой отца (или историю встречи с ним), поделиться впечатлениями от того или иного романа, высказать в целом отношение к его творчеству, его личности. Оценки несколько разнились. Кому-то нравился дебютный роман, кому-то последний, кто-то вообще толком не читал у него ничего, но считал, что писатель из отца был довольно посредственный. И конечно, тот, кто так считал, спешил объяснить, почему он так считает. Ведь через меня они говорили как бы напрямую с отцом. Ибо плоть от плоти, кровь от крови...

Все они, однако, меркнут перед учительницей литературы, которая сумела особенно отличиться²⁰⁴. Во время очередного занятия она вдруг, в самом его начале, глядя на меня с торжественным и гордым видом и таким блеском в глазах, который мне никогда больше не доводилось видеть²⁰⁵, достала откуда-то потрёпанную книгу в твёрдой обложке с именем моего отца на ней, раскрыла её где-то на середине, поправила очки и начала громко читать, как она потом скажет, свой любимый отрывок.

Читала она, кажется, ту сцену, где главный герой, молодой человек двадцати лет от роду, стоит посреди оживлённой улицы города, в который он только что прибыл. Над высокими серыми зданиями нависает яркое полуденное солнце. Облака плывут по голубому небу. За плечами у парня большой тёмно-синий рюкзак. Он одет в чёрную рубашку, джинсы и длинный серо-зелёный плащ с капюшоном, что ему не по размеру. Парень стоит, глядит на город, на толпу.

«Толпа несётся куда-то, она не замечает меня, меня тут будто бы и нет. Толпа обращает меня в призрака. Я уже мёртв.» – так было написано у отца. Я эти строчки хорошо помню, потому что они мне самому очень нравились. В мире, наверное, нет человека, который столько раз перечитывал бы романы Эдвина Миллера²⁰⁶. Главный герой всё стоит и размышляет, пока город продолжает жить. В руках парень теребит амулет из аметиста, подаренный ему на прощание лучшим другом, о внезапной смерти которого главный герой узнает несколько позже. Но в тот момент, стоя отрешённо посреди жизни, плывущей мимо него, сквозь него, ощущая себя мертвецом, он замечает девушку. Она приковывает его внимание, пробуждает в нём доселе невиданные чувства, заставляет забыть обо всём и как бы «возвращает к жизни» этого стра-

²⁰² В старой, вероятно, тоже знали, но это, что называется, не бросалось так в глаза (отчего-то), как в новой.

²⁰³ Мне не приходило в голову, что это может стать такой проблемой.

²⁰⁴ Надо отдать должное ещё и учителю истории, который вообще ничего не говорил мне об отце, хотя я видел однажды, как он, сидя на перемене в классе за своим столом, читал один из романов отца (старое, потрёпанное издание в мягкой обложке).

²⁰⁵ Не считая, пожалуй, людей, находящихся под воздействием определённого рода веществ.

²⁰⁶ Хотя, как знать, как знать...

дальца. Под напором нахлынувших чувств он роняет свой амулет и теряет его навсегда. Среди ног прохожих мелькает сиреневый камушек, но он столь мал, а ног так много! И вот его уже почти не видно. А прекрасная незнакомка тоже исчезает в толпе прохожих. Герой становится перед выбором: продолжать ли дальше искать амулет, постараться поймать, схватить его или же погнаться за девушкой? Герой размышляет несколько мгновений – и в самый последний момент гонится за девушкой. На этом сцена кончается.

Сцена кончается, а голос учительницы, чьё имя навеки осталось в рядах тех, что мне ни за что не удастся вспомнить, стихает. Пусть и ненадолго воцаряется тишина. Мне становится легче.

Она закрыла книгу, положила её на стол, подняла на нас свой влажный взгляд и произнесла:

– Это был роман «Столпотворение» писателя Эдвина Миллера, который жил и работал в нашей республике. И здесь сегодня с нами его сын, – она с радостной улыбкой протянула ко мне руки, словно я был каким-то мессией. – Эрик, встань, пожалуйста!

Пара десятков голов синхронно повернулись ко мне и впились в меня глазами. В этом было что-то жуткое. Я будто проглотил своё сердце, и оно рухнуло на самое дно желудка. Пальцы у меня похолодели, а волосы, кажется, встали дыбом (хотя на самом деле это было не так). В общем, сделалось мне весьма неловко. Я смутился, но внешне оставался невозмутимым (как мне кажется²⁰⁷).

Невозмутимым²⁰⁸ быть приходилось теперь стоя. Под пристальным взором одноклассников, среди лиц которых встречались разные выражения: от сдержанного интереса и любопытства до презрения, насмешливости и безразличия. Однако, все при этом они в тот момент слились для меня в единое существо, в какого-то жуткого монстра, что хищным взглядом примерялся, куда лучше впить свои длинные, острые клыки первым делом.

Таковым, в сущности, оказалось моё истинное знакомство с классом. Потому что в первый день с этим как-то не задалось. Учитель биологии попросил меня во время урока представиться классу и рассказать немного о себе. А я переволновался и заявил, что рассказывать мне особо нечего.

– Каждому есть, что рассказать, – возразил биолог.

В ответ на это я лишь пожал плечами и продолжил хранить молчание. Так всё и закончилось тогда.

А потом начался урок литературы.

– Эрик, – просила учительница литературы, расскажи нам, каким был твой отец?

Я понял, что тут мне уже так легко не отделаться. И я стал думать, каким был мой отец, что я могу о нём рассказать.

– Ну... – начал я, запустив руки за спину, глядя куда-то в сторону, слегка сощурившись, стремясь подбирать правильные слова. Все – ну или почти все – терпеливо ждали. Слышались смешки и перешёптывания, но никто, включая меня, не обращал на это внимания. – Он, я бы сказал, был самым обычным человеком. Две руки, две ноги, голова на плечах; любил проводить время в своём кабинете. Сидел там по много часов, писал свои романы. Ему это нравилось, надо полагать.

– Угу. Любопытно, – немного растерянно произнесла учительница. Она явно ждала чего-то другого. – А что ты чувствуешь, когда слышишь те строки, которые я прочла? – спросила она, пытаясь направить меня в верном направлении.

– Эти конкретно? – не подумав спросил я и тут же пожалел об этом. «Стоило просто наплесть какой-нибудь ерунды. К чему эти уточнения?!» – ругал я себя в своих мыслях.

²⁰⁷ Но скорее всего, это было не так.

²⁰⁸ Или каким-то ещё.

– Ну или любые другие из романов твоего отца.

– Раньше я не чувствовал ничего особенного. Всё то же самое, что при прочтении романов других авторов. Что-то мне нравилось, что-то – нет.

– Ты сказал «раньше». А сейчас всё иначе?

«Сейчас всё иначе». Помню меня эти слова выбили из колеи. Я погрузился в себя, в свои размышления.

«Сейчас всё иначе, – повторил я тогда про себя, как бы стараясь на вкус распробовать сие утверждение, по-настоящему осознать, что оно значит. Я будто забыл значение всех слов, потерялся где-то в глубинах собственного естества, в этой чёрной, пугающей пустоте, подобной космосу. – Моя жизнь изменилась навсегда. Она уже никогда не будет прежней. Почему? И как же так вышло? Что мне вообще с этим делать? Куда идти? Ведь куда-то идти нужно, нельзя оставаться на месте. Но с этой точки всё кажется каким-то пугающим. И вместе с тем бессмысленным. Как если бы я ходил кругами...»

Я рассуждал и рассуждал без конца. Перед глазами проносилась жизнь прежняя и жизнь (на тот момент) настоящая. Мне виделся большой отцовский дом, кирпичный, с белыми окнами и вальмовой крышей, покрытой чёрной черепицей, мне виделись деревья у дома, мрачные и усталые, виделись ворота и двери, много дверей, все комнаты, виделся отец, виделась дорожка, по которой мы с ним прогуливались; всё это и многое другое исчезало в водовороте времени, к нему примешивались видения нынешней (на тот момент) жизни: дом деда, пугающий, неуютный, непривычный, несуразный в геометрических формах и абстрактных, тонких содержаниях, элементах, что составляют композицию гротескную, дикую, ужасающую, как сила природы.

Эхо тех рассуждений и видений до сих пор преследует меня; оно заставляет думать, что близится смерть моя. Не знаю, какая тут связь. Но я её чувствую. А в ту пору не чувствовал и не понимал ничего. Я очнулся лишь в тот миг, когда учительница, стоя передо мной, трясла меня за плечо. Я слегка вздрогнул, посмотрел ей в глаза. Услышал смех одноклассников. Смущённо улыбнулся. Учительница спросила, всё ли со мной хорошо. Было видно, что она действительно беспокоится. Я подумал, что она не плохой человек, просто чересчур увлекающийся²⁰⁹.

– Да, – ответил я, – всё в порядке. Извините, я просто задумался.

– Я понимаю, – она слегка улыбнулась. Затем вернулась за свой стол. Она сменила тему и больше к ней не возвращалась. Но с тех пор все решили, что я странный и, как некоторые из них выражались, «малость пришибленный». С такой характеристикой я бы, наверное, не стал спорить. Собственное, я и не спорил. Не только из согласия, а скорее из безразличия. Ничто меня не оскорбляло, не ранило, не обижало, не задевало. Ни нападки учителя физкультуры, который мог иногда выдать что-нибудь в духе:

– Так! Теперь разделимся на команды! – тут он обычно направлялся в сторону своей каморки, где хранились мячи, всякие спортивные снаряды и какой-то хлам. Затем останавливался на секунду. Бросал в мою сторону презрительно-насмешливый взгляд и говорил: – Ну а капитаном у нас будет, конечно, наш мсье учёный-копчёный, главный по книжкам и мельницам!

Уж не знаю, чего он этим стремился добиться, что хотел этим сказать, но мне и это было совершенно безразлично. И даже когда Гектор Сува – пухлый, здоровенный, кучерявый паренёк, который был на два года меня (и, как следствие, всех в классе) старше, – стоя в коридоре во время очередной перемены и глядя мне в глаза²¹⁰, сопровождал свой дикий, полубезумный (всё же до полного безумия чего-то ему не хватало) хохот звуком разрывающихся страниц самого

²⁰⁹ А это, если подумать, вообще-то даже хорошо. Особенно для учительницы. Особенно для человека её возраста.

²¹⁰ Интересно, как долго ему пришлось искать меня.

успешного романа отца²¹¹ под названием «Втирая в дёсны свежий прах», а затем повернулся ко мне задом, выгнувшись предельно старательно, с таким изяществом, что позавидовала бы любая порноактриса, и в такой позе, привлекая внимание всех вокруг, держа одну из вырванных страниц в руке, стал делать вид, будто подтирается ею.

Представление это длилось довольно долго. Пожалуй, даже слишком долго. Выгибаться как следует парень, конечно, умел, но совершенно не чувствовал ни аудиторию, ни структуру собственного выступления. То есть он банально не понимал, когда остановиться. Я ему так и сказал. И про порноактрису тоже. Он моей похвалы, правда, не оценил. Смял свой театральный реквизит, то есть листок, которым как бы подтирался, швырнул его мне в лицо, а потом сразу же хорошенько врезал в нос.

У меня, понятное дело, хлынула кровь. Удар был пусть и не самый сильный, но довольно точный, умелый. Я нагнулся, зажав нос ладонями. Толпа охнула – кто от восторга, кто от ужаса. Гектор поспешно скрылся. А ему на замену откуда-то примчался учитель, который словно скрывался в толпе и ждал, чем всё закончится; и только теперь решил вмешаться.

– Кто это сделал? – спросил он с такой злобой, будто в случившемся виноват я.

– Я не знаю, – таков был мой ответ, ведь я в самом деле не знал тогда Гектора.

Учитель, видимо, разозлившись ещё сильнее от того, что не вышло тут же и на месте решить всю проблему, потащил меня к директору. Вместе они провели довольно длительное и нудное расследование (иначе не скажешь) относительно того, кто, по какой причине и при каких обстоятельствах заехал мне кулаком по носу.

Тот учитель, как и многие другие люди, за все эти годы в моей памяти обрёл форму «человека из сна». Обычно, когда во сне кого-то видишь, он предстает тебе как бы в расфокусе, размыто. Видны самые общие очертания, но их достаточно, чтобы узнать этого человека, понять, кто перед тобой, поэтому в большем и нет нужды. По крайней мере во сне.

С памятью то же самое. Имя и лицо могут быть утрачены, изъедены временем, размыты, как пейзаж, что видишь на отдалении сквозь стекло, по которому стекают капли дождя. Но при этом ты всё равно знаешь, что вот он – тот самый человек. Потому что вы встречались именно в том коридоре, где злобный, несчастный и жалкий, чересчур физически (но не умственно) развитый мальчик ударил тебя по носу, именно в том кабинете, на двери которого висела табличка с надписью «Директор». Паркет в том кабинет был грязным и тёмно-жёлтым, таким, что невозможно было его оттенок сравнить ни с пшеничным полем, ни с пивом, ни с мочой, ни с чем-либо другим. Хотя очень хотелось бы. Кабинет был просторным и светлым. Как полагается. Посередине стоял большой стол, заваленный бумагами. Заваленный настолько, что невозможно было разглядеть, что на самом деле это несколько столов, составленных вместе. И если бы кто-то сказал, что это так, то пришлось бы поверить ему на слово. Директор носил бороду. Она была густой и чёрной. Пиджак его тоже был чёрным. А рубашка синей. Брови были под стать бороде, то есть столь же густыми и столь же чёрными. Между бровями и бородой помещались глаза, в которых виднелось лишь желание выспаться, и крупный нос, что являлся воплощением мужественности, но вместе с тем и портил общую гармонию лица, внося диспропорцию.

Человек, которого я, словно какой-то помешанный сектант, вынужден называть просто – учитель²¹² – в моей памяти предстаёт в коричневом костюме и серой рубашке. Он был лысым и вёл какой-то не слишком важный предмет. Мне этот дядечка с самого начала показался неуравновешенным, озлобленным, как голодный бродячий пёс. Своим видом он немного напоминал

²¹¹ Не думаю, правда, что Гектор знал об этом. Интересно, где он вообще достал эту книжку? Стащил откуда-то, скорее всего.

²¹² Да и не только его вообще-то.

собаку, кстати. Ну так... совсем чуть-чуть. И когда говорил особенно эмоционально, то речь его напоминала собачий лай. Это было что-то грубое, резкое, с трудом воспринимаемое.

Но в присутствии директора он вёл себя вполне спокойно. Вернее, сильнее чем обычно старался скрыть своё раздражение. Я сидел на стуле напротив директора. Директор сидел, сцепив пальцы, подавшись вперёд, а лысый учитель, похожий на пса, всё маячил вокруг. Они спрашивали меня о том, кто это сделал. Я объяснил им, что перевёлся в школу совсем недавно и банально никого тут не знаю.

– Что ж, – сказал директор, – тогда опиши нам его.

Я всем своим видом дал понять, что задумался: откинулся на спинку стула, скрестил руки на груди, устремил взгляд к потолку, чуть сдвинул брови и сощурился. Выдержав паузу, я стал описывать им портрет Жан-Поля Сартра, сопроводив его своими, так сказать, художественными дополнениями.

– У него короткие, сальные волосы, зализанные вправо, – я показал им, как они были зализаны. – Худощавый такой, но высокий. Руки длинные. В сером костюме. И ещё глаз у него один косился, кажется...

Они переглянулись и пытались понять и/или вспомнить о том, кто же это мог быть. Потом последовали вопросы о причинах происшествия. Я ответил, что сам не успел понять, в чём дело. Всё произошло очень быстро. Они мне не поверили, но поскольку убедились, что конфликт вряд ли получит своё продолжение (они ошиблись, конечно), а никаких проблем ни для них, ни для школы это не принесёт, они меня отпустили. Оставалось ещё три урока, но директор сказал, что я могу идти домой. Проверить, всё ли со мной и моим носом в порядке, никто не собирался. Чувствовал я себя, однако, вполне нормально, а после того, как узнал, что могу пропустить целых три урока без каких-либо для себя последствий, мне стало ещё лучше, так что нечего было и жаловаться. Я встал, попрощался с учителем и директором, вышел из кабинета. За дверью они продолжали что-то обсуждать. Скорее всего, результаты футбольных матчей, дотации из городского бюджета, нерадивых учеников, их «преlestных мам» и молоденьких, как они сказали бы «свеженьких», учительниц

Я поспешно (настолько, чтобы никто не успел понять, что вообще происходит, чтобы не успел задуматься даже) забрал свои вещи из класса и пошёл домой.

Погода стояла приятная, прохладная. Я вновь ощущал пьянящую свободу, как в тот день, когда мы с Робертом сбежали с уроков. На этот раз, правда, мне было несколько тоскливо²¹³. Ведь я шёл теперь один. Во всяком случае, без моего доброго друга. Йен Кёртис сопровождал меня. И Сюзи Сю. И многие другие. Так я хотя бы в некоторой степени отрезал себя от окружающего мира. Мне не были слышны голоса проходящих мимо людей, рокот автомобилей и шуршание шин по асфальту, звук собственных шагов, шелест листвы, дыхание ветра, лай собак и вой котов. Всё оставалось где-то далеко, там, где меня уже не было. И я подумал в тот миг, что это лучшее что может быть на свете.

Дед стоял у подъездной дорожки, когда я подходил к дому, просматривал почту. Заметив засохшую кровь над моей верхней губой и скомканную бумажную салфетку, торчащую из ноздри, он рассеяно бросил одну лишь фразу, которую я оставил без ответа:

– Надеюсь, ты это за дело получил...

Новоиспечённые одноклассники оказались ребятами не из приятных. Никто меня особо не донимал, как Гектор Сува. Но некоторые иногда откровенно посмеивались надо мной, ещё реже могли между делом, как бы невзначай, подобно деду, столь же рассеяно бросить колкую фразу, призванную задеть меня. Я замечал, как жадно впиваются они в меня взглядом, с широкой улыбкой, полной надежд, что сейчас-то непременно какой-то мускул на моём лице дрогнет,

²¹³ Ибо тоска – она ведь повсюду.

что-то обязательно случится – и это развеет здешнюю скуку²¹⁴, добавит хоть каплю краски в невыносимую серость унылых будней каждого школьника. Они чувствовали себя, наверное, не то учёными-исследователями, которые в своих стерильных лабораториях, вспарывая брюхо лягушке и скальпелем стимулируют тот или иной нерв, заставляя уже мёртвое тело совершать хотя бы самые примитивные движения, не то уличными художниками, которые, рискуя в глазах закона стать вандалами и подвергнуться наказанию, украшают город своими творениями и дарят эту красоту всем вокруг, следуя высшей цели. Какую-то неопишемую радость, какой-то восторг они испытывали от этого. Или во всяком случае должны были, надеялись испытать. Но я отнимал у них это. И тем самым давал, видимо, право грубо обращаться со мной, навсегда лишит меня шанса стать частью их дружной компании, тоже, что называется, «взять в руки баллончик с краской или скальпель».

Меня, однако, не прельщало ни то, ни другое. Я предпочитал не воздействовать на окружающую действительность, а отринуть её настолько, насколько человек вообще на такое способен. И у меня для такой цели был свой инструмент – наушники. Жаль только, что в школе я не мог надевать их и во время уроков. Жизнь была бы куда проще. И может не состоялось бы тогда то знакомство, которое потом привело к трагедии.

Прошло несколько дней. Очередной урок. Один из последних в конце недели. Все устали. Неутомимым был лишь лысый, злой дядя в коричневом костюме, похожий на собаку. Он дал нам задание, которое предполагало, что все ученики должны разбиться на пары. И само собой, никто не хотел брать себе в пару новенького – странного, чудаковатого, довольно высокомерного (как им, вероятно, казалось) парня. Кто-то из девчонок был, в общем-то, не против. Но они почти все разбились на пары между собой. Иные же брали себе в пары мальчиков, которые им действительно нравились или с которыми они уже, собственно, состояли в паре. Таких было совсем немного, всего две, кажется. Одну из таких пар как-то раз застукали за весьма непристойным занятием в каморке под лестницей. Я лично стал невольным свидетелем того, как их обнаружили. Девочку звали Оля Б. Мне запомнилось это имя, потому что после того случая повсюду²¹⁵ появлялась одна и та же надпись: «Оля Б. – шлюха». Вскоре только эта надпись от неё и осталась. Сама Оля Б. навсегда исчезла. По слухам уехала с родителями в другой город и сменила имя. Но это были лишь слухи.

Урок тот тем временем продолжался. А я всё ещё оставался без пары. Я сидел в третьем ряду, к тому, что ближе к двери, за четвёртой партой. Я оглядел класс. И в самом дальнем углу, за последней партой первого ряда, я увидел шуплого паренька. На нём был чёрный костюм и белая рубашка с каким-то дурацким голубым узором. Пышная, чёрная, как уголь, шевелюра, торчащая в разные стороны, напоминала птичье гнездо. Острое лицо покрывали прыщи, словно почки на дереве ранней весной. На переносице его покоились большие круглые очки, за стёклами которых был виден взгляд человека, который готов в любую секунду уйти из жизни.

Звали его Герман. Он жил с мамой в тесной квартирке совсем рядом со школой. Она была учительницей. Преподавала у нас химию. Муж бросил её вскоре после рождения сына. Осознал, что семейную жизнь потянуть никак не сможет и поэтому, не придумав ничего лучше, скрылся под покровом ночи. Просто встал с постели, пока все спали, тихонько оделся, собрал вещи (хотя почти всё своё добро ему пришлось оставить), оставил на кухонном столе записку, типичную для такого случая, вышел из дома и больше никогда не возвращался.

²¹⁴ Или тоску?

²¹⁵ В туалете, в той же самой каморке под лестницей, а иногда даже и в коридоре (но мелко, аккуратно, осторожно).

Под гнётом учителя и задания, которое он наверняка воспринимал как проявление своей креативности, мы с Германом были вынуждены образовать пару. Никто из нас этого не хотел, мы бы предпочли скорее делать задание, рассчитанное на двоих, в одиночку. Но учитель нам не позволил. Так что пришлось мне переместиться к нему.

Герман явно сильно напрягся, когда я сел рядом. Он сделался каким-то каменным, уставился в пустую тетрадь, раскрытую перед ним, а руки, согнутые в локтях, он держал на парте параллельно друг другу и сжал их в кулаки. Было в этой позе что-то ужасающее. Будто Герман был пришельцем или монстром, который стремится копировать повадки и движения человека, но у него плохо получается, потому что повадки и движения эти ему не только непонятны, они ещё для него являются и предельно неестественными.

Мне стало жаль парня. «Жаль» в хорошем смысле, как жалеют того, кто столкнулся с несправедливостью, кто пал жертвой жестокости нашего мира.

Всеми силами я захотел показать, что меня не нужно бояться, я не представляю угрозы и никаких проблем со мной не возникнет.

С таким намерением я взял листок с заданием, который нам раздал учитель и тихонько спросил Германа:

– Ну что? Как будем разгребать эту кучу?

Уж не знаю, общий труд ли сплотил нас, но мне сразу показалось, что он хороший парень. В нём не было озлобленности, затаённой обиды на весь мир²¹⁶, которую я встречал у других. Хотя и ему было на что злиться и за что обижаться. Но по каким-то причинам (их мне так и не удалось понять, разгадать) Герман сосредотачивался на том, что приносило ему радость²¹⁷, наполняло саму его внутреннюю сущность, то есть на музыке и литературе. Дома у него стояло старенькое пианино. В детстве он ходил в музыкальную школу, но так её и не окончил. Тем не менее, играть ему нравилось.

– Что-нибудь не слишком сложное, – как он сам говорил. – Кусочки оттуда, кусочки отсюда. Мне нравятся отдельные части, какие-то пассажи, определённые такты в произведениях. Что-то целиком я давно уже не играю.

Ну а литература просто увлекала его сама по себе. Нигде он этим не занимался. Но всегда носил с собой в рюкзаке пару-тройку книжек.

– Зачем так много? – спросил я его как-то раз.

А он ответил:

– Затем, что одной книжки может и не хватить. Если я, например, подбираюсь к финалу, у меня должна быть книжка, которую я бы мог сразу начать читать после той. Иначе я с ума сойду. К тому же, никогда не знаешь, какую книжку действительно захочется читать. От настроения ведь тоже это зависит.

Задание мы сдали одними из первых (нам за него потом «пятёрку» поставили) и могли быть свободны. Хотя до конца урока оставалось ещё пятнадцать минут.

Мы вышли в коридор, Герман сразу двинулся прочь, к лестнице, повернув налево.

– Эй! – по-доброму окликнул я его. Он остановился и обернулся. – Как тебя звать-то хоть?

Он назвал своё имя, а я ему – своё.

– Знаю, – кивнул Герман.

«Ну да, – подумал я, – само собой».

– Хорошо поработали, – сказал я, улыбнулся и протянул ему руку.

²¹⁶ Но как время покажет, в этом я ошибся.

²¹⁷ По крайней мере, так было тогда. Позднее он, видимо, утратил эту способность. Иначе как объяснить дальнейшие события?

Он широко раскрыл глаза от удивления и смущения. Так мы и стояли некоторое время, может вечность, может мгновенье²¹⁸: я с протянутой рукой, а он с выпученными глазами, глядя на эту самую руку, придерживая лямки рюкзака. Затем он с осторожностью протянул и свою руку. Мы обменялись рукопожатиями. На том и расстались.

Со следующего дня я сидел за его партой. Никто не возражал. Ни учителя, ни сам Герман, ни одноклассники. Последние первое время глядели на нас с презрением, иногда посмеивались, конечно. Но это всё быстро сошло на нет.

За его партой мне нравилось. Во всех отношениях удобное местечко. Когда устал, утомился от нудных учительских речей (и от всего на свете), можно спокойно рисовать всякие каракули, делая вид, что пишешь под диктовку²¹⁹, можно смотреть в окошко или банально перешёптываться с Германом о том о сём. Сперва он был не слишком разговорчив, но со временем, привыкнув ко мне, убедившись, что я заслуживаю доверия и что я не из тех, кто без конца издевается, насмехается над ним, он постепенно стал раскрываться, говорил со мной, выражал мнение, делился впечатлениями, мыслями, чувствами...

Начали мы с того, что я рассказывал ему о своих увлечениях²²⁰. О музыке, в первую очередь. О том, что она для меня значит, как помогает переносить тяготы жизни, справляться со стрессом и тёмной стороной своей сущности. Он с интересом слушал, я это видел. И потому продолжал²²¹.

Я говорил о любимых группах, о Joy Division, The Cure и Siouxsie and the Banshees, о многих других, говорил о том, как круто выглядит Роберт Смит в своих чёрных одеждах и со своим легендарным пышным, растрёпанным причёсом.

– Мне тоже нравятся The Cure, – еле слышно, задумчиво произнёс Герман.

Неделю или две спустя мы скрывались в школьной библиотеке. Проворачивали такое раза четыре в месяц, наверное. Около того. Уходили по одному из столовой с интервалом в пятнадцать минут. Шли разными путями и встречались там.

Школьная библиотека была поразительным, я бы даже сказал волшебным местом. Никто и никогда туда не заходил. Может, случалось так, что кто-то заходил туда именно в те дни, когда нас с Германом там не было, но это, как мне кажется, маловероятно. Впечатление, будто лишь мы были способны узреть ту дверь и отворить её. Словно в сказке или легенде. С рыцарями короля Артура было вроде что-то подобное. Когда они отправились на поиске Святого Грааля; узреть его воочию, с приоткрытой вуалью, было дозволено только достойным. Ими оказались, если я правильно помню, Борс и Галлахад. Ланселот вполне мог оказаться достойным, но страсть к Гвиневре лишила его этого.

Вот и мы с Германом были, как Борс и Галлахад. Все остальные, как он считал (а я с ним, в общем-то, соглашался), не являлись достойными, потому что были равнодушны к творчеству, искусству.

– Прикованные к земле, – говорил мне Герман шёпотом, выражая к ним²²² своё презрение, – они неспособны постичь Вечность. Они хорошо это знают. Так что и пытаться не будут. Поэтому никто сюда не сунется. Ты только посмотри, – мы сидели между дальними рядами книг, то был наш первый визит в библиотеку, он указал на толстые, пахнущие мудростью веков тома. Томас Вульф, По, Кафка, Камю, Бальзак, Сартр, Стейнбек, Гюго. Мы были в хорошей компании. И наконец не чувствовали себя одиноко.

²¹⁸ Тут никогда нельзя точно сказать.

²¹⁹ Это помогало восстановить душевное равновесие, пусть и вызывало проблемы всякий раз, когда приходилось сдавать на проверку тетради; но в новой школе тетради проверяли куда реже, чем в той, где я учился прежде.

²²⁰ С это ведь всегда всё и начинается, правда?

²²¹ А иначе не стал бы.

²²² То есть ко всем людям.

Библиотека располагалась на первом этаже в конце коридора в побочном крыле, которое заканчивалось тупиком и было построено позже всего здания и потому несколько от него отличалось; как минимум тем, что там всё выглядело поновее и с налётом какого-то мрачного (и потому особенно притягательного) минимализма. Кроме библиотеки в том крыле располагались несколько (то ли четыре, то ли пять, не помню точно) классных комнат и что-то вроде подсобки, которую использовали учителя (как правило, во второй половине дня) для того, чтобы покурить, иногда и выпить чего покрепче, расслабиться, отдохнуть, поспать, в общем, что называется, хорошо провести время. Об этом знали все, но помалкивали. Потому что и ученикам (особенно самым нерадивым, включая нас с Германом) это было выгодно. Ведь в иные разы учитель мог попросту не явиться на урок. И если вести себя тихо, не привлекать внимания, то можно самим отдохнуть, набраться сил, разгрузить голову, заняться чем-нибудь поприятнее, чем зубрёжка. А зная привычки того или иного учителя, можно ещё и с довольно высокой точностью предсказать, в какой день он не явится на урок; что давало возможность отложить выполнение домашнего задания по этому предмету. Мне, правда, приходилось идти на ухищрения, дабы дед не заподозрил меня в том, что я бездельничаю. Но это всё равно того стоило. Да, система иногда давала сбой. И с учителем, и с бабушкой. Приходилось тогда терпеть наказание. Случалось, сразу от обоих. Но что поделать? Идёшь на риск – будь готов к последствиям. Так мне потом говорил Роберт. Речь, правда, шла уже о делах куда более серьёзных, чем уроки и школьные будни.

То крыло было целиком возведено за счёт средств выпускника школы, который сумел стать состоятельным человеком. Желая отблагодарить родную школу, он – большой любитель литературы – выделил денег на строительство нового крыла школы, особое внимание уделив новой библиотеке. Не знаю, в каком состоянии находилась прежняя библиотека. Когда я пришёл, новая уже работала. И там всё было сделано со вкусом. Чувствовался стиль, тяга к прекрасному и вечному, чувствовались гордость и благородство²²³.

Просторное помещение²²⁴ занимали, конечно, длинные ряды шкафов, на полках которых покоились книги. Многие из них были староваты, но это даже предавало особого шарма библиотеке, как раз столь ей необходимого. Под высоким (четырнадцатилетнему мне, во всяком случае, он казался необычайно высоким, хотя на деле, я полагаю, был немногим выше потолков школьных кабинетов) белым потолком, словно раскинув крылья, висела хрустальная люстра, заливая комнату холодным белым сиянием. У входа слева находилась могучая стойка библиотечарши, должность которой, перейдя из прежней библиотеки, вот уже очень много лет занимала низенькая, тощая, пожилая женщина с чёрными волосами, собранными в тугий пучок, и гигантскими очками, придававшими ей некоего сходства с мухой. Чаще всего она просто дремала на своём месте, находясь на границе двух миров, но пребывая в полном забытии. Бывали, правда, дни, когда она встречала нас бодрым и радостным приветствием. Я приветствовал её в ответ, улыбаясь и слегка подаваясь вперёд в еле заметном поклоне, что в наших краях вообще не принято. Но ей такой жест явно нравился, он был частью (или скорее лёгким отголоском) того этикета, которому следовали герои старых английских романов, что ей столь сильно нравились, когда она была ещё совсем юной барышней. И поэтому уже возникшая в ней симпатия к нам – возникшая из-за того лишь, что мы хоть иногда навещали её обитель, в её владения, представлявшиеся ей, разумеется (и вполне справедливо, как по мне), самым лучшим и важным местом на земле, – стала ещё сильнее. Мы показали этой женщине, чьи лучшие годы остались далеко позади, что не всё потеряно, что есть те, кто разделяют её страсть к литературе, кто считает необычайно значительными все эти древние талмуды. И она благодарила нас за это своей благосклонностью каждый раз, когда мы появлялись в дверях библиотеки.

²²³ Которые, к сожалению, правда, мало кто ценил по достоинству.

²²⁴ Возможно даже самое просторное во всей школе.

– Ах, это снова вы! – восклицала она так громко и так радостно, как только могла. Царица книг и каталогов оборачивалась к двери, но мы оказывались напротив её стойки раньше, чем она успевала обернуться. И ей приходилось совершать таким образом лишнее движение, поворачиваясь уже туда, где мы стояли, терпеливо ожидая, когда она с этим справится. Она поднимала на нас свой взгляд, немного подаваясь левым плечом назад. Взгляд её казался лукавым. Но то была иллюзия, ошибка восприятия. Я точно знал: эта старушка чиста в своих мыслях, мотивах и намерениях. – Ну как вам «Мадам Бовари»?

– Очень понравилось! Весьма признательны-с за столь мудрый и, надо полагать, своевременный совет. Мсье Флобер действительно оказался крайне хорош, великолепен, грандиозен. Как вы и говорили. Мы и ныне пребываем в полном восторге!²²⁵

– Что ж, я очень рада, – она сияла в гордой улыбке, и на миг сбрасывала с себя пару десятков лет (потом, однако, вновь накидывала обратно, но это было неизбежно). – Чем я сегодня могу вам помочь?

– О, мы бы хотели проследовать в дальнюю секцию и более обстоятельно познакомиться не только с мсье Флобером, но и некоторыми другими столь же достойными французами.

Библиотекарша с удовлетворением кивала в ответ. Она как бы подтверждала благородство и достоинство наших мотивов и стремлений, а кроме того, давала своё негласное (?) позволение воплощать их столько, сколько потребуется и именно так, как мы того захотим. Для неё не существовало уроков, ученических обязанностей, домашних заданий, контрольных и экзаменов, для неё не существовало самого времени и всего остального мира. Существовал только мир книг, в котором она более не оставалась одинокой. Она была Духом его питающим, Матерью, дарующей Жизнь. А мы – детьми, порождёнными её союзом с вечностью. И если бы потребовалось, она наверняка защитила бы нас от всех напастей.

– Покорно благодарю вас, – говорил я ей, когда в ответ получал от неё согласие и одобрение; и тогда мы направлялись к дальней секции, в самую утробу библиотеки, где было тихо, спокойно, и никто не мог нас найти и потревожить.

Каблуки наших начищенных до блеска туфель стучали по паркету в ритме юности, беспечности и растерянности, толкающей нас в объятия Искусства – обители всех удручённых, опечаленных, разочарованных, растерянных. Вслед нам вместе с библиотекаршей глядел со стены большой портрет того, кто сотворил это место, ставшее для нас убежищем. Под портретом висела табличка с надписью: «Соломон Кальви Первый». На портрете он был изображён в полный рост. Стройный мужчина лет сорока (в жизни он был старше). Серый строгий костюм, белая рубашка, чёрный галстук и чёрные туфли демонстрировали его изящный стиль и вкус; запонки, перстни на пальцах и трость (сделанная, вероятно, из какого-нибудь редкого материала) демонстрировали его достаток; короткие, сбрызнутые сединой, зализанные к затылку волосы, открывающие широкий лоб демонстрировали... не знаю... что они могли демонстрировать? Его мудрость? Высокий интеллект? Тяжесть выпавшей доли? Не могу сказать. Но суровый и вместе с тем глубокий взгляд тёмных глаз демонстрировал примерно то же самое. Что бы это ни было.

И взгляд этот благословлял нас. И мы шли и шли. А потом скрывались в одном из многочисленных книжных рядов. Герман на ходу тянулся к моему уху и шёпотом поражался:

– И где ты научился так красиво говорить?

– У мертвецов, – отвечал я.

Меж книжных полок среди громких, бессмертных имён было уютнее, чем в любой другой точке земного шара. Уютный полумрак, запах ветхих страниц, тишина и покой. Разве можно желать чего-то большего? Вряд ли. Во всяком случае, в такие моменты, устраиваясь поудобнее

²²⁵ Никакой «Мадам Бовари» я к тому времени не читал. Я помнил об этой рекомендации нашей библиотекарши, но мне было явно не до того в те непростые времена.

на полу, подкладывая по себя рюкзак, я оказывался ближе всего к счастью и гармонии с самим собой. Герман, думается мне, чувствовал то же самое.

Шли дни. Одно время года сменялось другим. А мы всё продолжали ходить в библиотеку, унося с собой книги, дабы, как нам казалось, не вызывать лишних подозрений у библиотечарши, хотя в её глазах мы были непогрешимы, сейчас я это понимаю. Так, волею случая, нам с Германом посчастливилось прочесть авторов, которые иначе наверняка прошли бы мимо нас.

В самой же библиотеке мы проводили драгоценные минуты в беседах об искусстве и творчестве, жизни и смерти, впечатлениях, накопленных за не слишком долгое пребывание в этом мире. С каждым днём мы всё лучше узнавали друг друга. И лично я пришёл к выводу, что Герман – отличный парень, говорить с которым мне действительно было интересно и приятно.

Однако наши с ним внезапные и всё более частые исчезновения, конечно, не могли пройти незамеченными. И если учителя довольствовались тем, что просто делали соответствующие пометки в журнале, то вот реакция одноклассников оказалась, скажем так, чуть более бурной.

Началом всему послужила, в целом, невинная и предельно глупая шутка, высказанная... кем-то... наверняка тем парнишкой... его звали вроде бы Салютор Магристос. С лица у него вечно не сходила дурацкая ухмылка; у него были светлые сальные патлы, а одевался он в мешковатую одежду тёмно-зелёных и бежевых оттенков, которая при ходьбе вечно шуршала, и вертелся он туда-сюда за партой, словно флюгер, от чего брюки его на ягодичках блестели сильнее, чем у остальных, блестели так сильно, что казалось порой, будто под определённым углом они будут отбрасывать солнечных зайчиков. Между собой мы с Германом только Флюгером его и звали (позже это переняли все остальные ребята). Я на уроках забавлялся иной раз тем, что, умело поджидая момент, когда Салютор начнёт вертеться (предугадать такой момент было совсем несложно, достаточно обратить внимание на его руки и ноги: когда Салютор решал, что настала пора исследовать своим взором всё вокруг, он ладонями упирался о край парты, а ноги ставил на носок, и в следующий миг начинал вращаться), аккуратно за мгновение перед этим, начинал дуть в его сторону, создавая тем самым иллюзию, будто поток воздуха из моей груди приводил его в движение, подобно тому, как флюгер на крыше вращается от дуновения ветра. Это очень забавляло Германа (да и не только его).

Ну а сам Флюгер (предположительно это был именно он, но я не могу быть уверенным) забавным считал совсем иное.

В один из дней, предельно обыденный, неоднократно повертевшись по сторонам, как и всегда, внимательно исследовав класс своим чутким взором, он заметил, что нас с Германом опять нет. Ещё утром мы оба сидели на своём обычном месте. А после третьего урока внезапно пропали. Причём, сразу оба. И в голове Салютора возникла логическая цепочка, которой он поспешил поделиться со всеми:

– Эй! Глядите-ка! Эрик и Герман опять вместе куда-то смотались! Кажись, они того... это... – под лестницей... – и он сделал характерный жест: указательным пальцем правой руки стал тыкать в кольцо, сложенное из пальцев левой руки.

По классу кое-где²²⁶ прокатился смешок. Салютор, чувствуя триумф комедианта, стал изображать наш с Германом диалог, пародируя голоса, движения и манеры:

«О, Эрик, ты так хорошо разбираешься в истории!»

«А у тебя, Герман, такие красивые рубашки! И в этих очках ты такой горячий! Давай отсосём друг другу скорее!».

И вновь прокатился смешок, на этот раз более громкий. И обычная шутка стала, что называется, притчей во языцех²²⁷.

²²⁶ Но не всюду.

²²⁷ Так я и узнал о шутках Салютора и реакции класса на них.

Сперва люди (включая уже и тех, кто учился в других классах), завидев нас с Германом, идущих по коридору, откровенно смеялись и перешёптывались. И нам было невдомёк, в чём вообще дело. Мы насторожились, но не особо заботили себя попытками выяснить причину такой вот реакции на наше появление. Потом на стенах тут и там возникали карикатуры (довольно талантливо исполненные, надо признать), изображавшие меня и Германа за занятием крайне непристойным. Довольно любопытно и забавно, что учителя не особо-то спешили избавляться от этих художеств, учитывая хотя бы то, что школа всегда довольно ревностно отстаивала околорелигиозные (такое впечатление они производили) принципы благопристойности.

Но в данном случае им внезапно стало (почти) всё равно, и до самого последнего момента они делали вид, что не замечают карикатур (ну, либо они в самом деле их замечали). Надо ли говорить, что это совершенно невозможно, учитывая бурную реакцию учеников всех классов – от мала до велика. Равнодушие учителей (и даже некоторую симпатию к творчеству местных художников) могла развеять разве что какая-нибудь инспекция из контролирующего деятельность образовательных учреждений органа. Поскольку, однако, такая инспекция проводилась в чётко установленный срок, с точно установленной периодичностью и датой её проведения, учителям и директору бояться было нечего.

Я все насмешки и нападки воспринимал довольно спокойно, а вот Герман по этому поводу переживал и волновался очень сильно. Он в целом был человеком нервным и дёрганным. Любое раздражение, отклонение от того, что для него являлось нормой (то есть привычным состоянием и положением вещей) сказывалось на нём не лучшим образом.

– Нам, наверное, лучше некоторое время вообще не общаться. И не сидеть вместе за одной партой, – сказал он мне в один из дней, вновь срывая очередную карикатуру.

Я посмеялся и ответил:

– Знаешь, звучит так, будто между нами в самом деле что-то есть...

Он заметно смутился, чем рассмешил меня ещё больше.

– Ну, просто... – начал объяснять я. – Ты же понимаешь, что, если в ответ на все эти шуточки и подколы, в ответ на это, – я указал на рисунок в его руках, – мы перестанем общаться, а в особенности, если я займу другое место, это лишь даст повод для новых шуточек, потому что, отвечая вот так, мы как бы признаём собственное смущение, вызванное всеми этими шутками, насмешками, рисунками и прочим. А раз мы смущены, значит, косвенно признаём их правоту, превращая все шутки, подозрения и намёки во что-то большее, такое, у чего есть почва, здоровое, рациональное зерно. Проще говоря, мы, как бы сами того не ведая, соглашаемся с тем, что между нами есть такого рода отношения.

Герман задумался на некоторое время. И пришёл в итоге к выводу, что мои рассуждения верны.

– Но мне всё равно как-то не по себе теперь, – добавил он при этом.

– Ну, приятного в этом мало, да. Только вот мы-то с тобой знаем правду. А это важнее всего. Какая разница, что думают все остальные? Тем более, раз их посещают настолько глупые мысли, когда дружба и совместное проведение досуга воспринимается как наличие романтических и сексуальных отношений...

– Господи! – воскликнул Герман, прервав меня. – И где ты только всего этого понабрался? Тебе точно четырнадцать?

Я вновь засмеялся и, приобняв его, сказал:

– Иногда я и сам в этом сомневаюсь.

Глава 11

Течение времени неумолимо несло всех нас к гибели нашей юности. Мы этого ещё не знали, она казалась нам вечной. И потому всё шло своим чередом. Как и должно быть.

Шутки и насмешки прекратились, ибо утратили свою остроту. Карикатуры исчезли. Встречи в библиотеке тоже постепенно сошли на нет. С Германом мы виделись теперь за пределами школы. Я побывал у него в гостях, познакомился с его мамой (то есть я, конечно, был с ней знаком, но исключительно, как с учительницей; а теперь она предстала для меня в роли матери моего хорошего друга). Мы облазили весь город, побывали везде, где только можно, обсудили, какой альбом является лучшим в дискографиях The Cure, The Banshees и Joy Division, какая девчонка в классе является самой симпатичной, а какая книжка самой интересной. Мы обменивались книгами из наших личных библиотек (значительная часть которых нам обоим досталась от наших отцов, так или иначе покинувших нас), обменивались дисками с музыкальными альбомами, названиями групп и альбомов, что случайно попадались одному из нас в каком-нибудь журнале или на стенде в музыкальном магазине. Мы всё больше узнавали друг друга и самих себя. Наша дружба крепла.

Но в остальном жизнь становилась тягостнее и тягостнее. Дед постоянно доставал меня своими поручениями, не давая продыху. Мама в какой-то момент пришла в норму. Во всяком случае, не рыдала больше сутками у телевизора, не кричала на портреты и не устраивала пожаров. Она вновь стала писать портреты²²⁸ (на них, правда, был уже изображён кто угодно, кроме отца, по понятным и очевидным причинам), много времени проводила на заднем дворе, ухаживая за растущими там тюльпанами и розами, часто и подолгу гуляла. Занимались много чем. А со мной не говорила. Казалось, будто она меня избегает. Что было странно, несколько дико, пожалуй; ну и неприятно, конечно. Я не задавался тогда вопросом, почему это происходит. Как всякий подросток, я был заиклен на себе самом, своих чувствах, ощущениях, желаниях, потребностях, впечатлениях. Я не пытался осмыслить и понять мотивы человека, который не хочет, боится поговорить с собственным сыном. Я не думал о том, какие мысли и чувства привели её к этому. Меня заботило то, что действия её (чем бы они ни были вызваны) причиняют мне боль. И мне нужно было как-то от неё избавиться.

Боль становилась сильнее, она разрасталась, поглощая меня и всюду преследуя, она нависала надо мной, как туча, как тень – предвестник чего-то дурного. И не было от этого спасения.

Дядя Сё – перелётная птица Ребеллиона – как только отступали холода, он тут же пропал, появляясь в доме всё реже. Роберт тоже покинул меня. Он не отвечал на звонки, и у себя дома, прям как мой дядя, почти не появлялся.

Каждый день, возвращаясь из школы, в эту мрачную, тёмную, душную, смердящую унынием комнату, я чувствовал себя бесконечно одиноким и несчастным. Эта комната пожирала то небольшое, что было хорошего в моей жизни. Радость от прослушивания музыки, разговоры с Германом – всё это растворялось в терпком и горьком на вкус убранстве комнаты, стоило мне там оказаться. Всем своим видом она высокомерно демонстрировала убожество моего существования. Будто насмехалась надо мной, говоря:

«Ах, как низко пали вы, господин Миллер! – Только взгляните вокруг! Разве можно жить подобным образом? Неужто вы не намерены ничего предпринять?»

«Намерен! – отвечал я, вскакивая с постели. – Ещё как!»

И с тех пор я стал по ночам уходить из дома.

В 21:00, покончив с последним поручением деда, мне полагалось возвращаться в свою комнату. Привести её в порядок, если необходимо; а если нет, то в моём распоряжении ока-

²²⁸ Да и не только портреты.

зывались два часа, которыми я мог распорядиться по собственному усмотрению. И обычно я слушал музыку в наушниках и читал отцовский дневник. В 22:55 я вставал с постели, прятал дневник, шёл в ванную, умывался, чистил зубы. В 23:00 ложился спать.

Но так было раньше. Теперь же я выжидал целый час, пока дед, вдоволь насидевшись в кухне, обойдёт весь дом, прислушиваясь к малейшим шорохам, стремясь убедиться, что всё в порядке, и пойдёт наконец спать. Тогда я вставал с постели, спешно одевался (в одной из сумок в комнате всегда лежали запасные ботинки), открывал грязное, заляпанное птичьим помётом и следами человеческих пальцев («кому они принадлежали?» – вопрошал я сам себя, но ответа так никогда и не получил) окно, осторожно спускался по водосточной трубе и бросался прочь, неведомо куда.

Продуманная схема возникла и постепенно развилась у меня в течение примерно одного года.

В первый раз моя вылазка была совершенно спонтанной и, я бы сказал, безумной. В следующие пять раз дела тоже обстояли не лучшим образом. Но со временем я понял, что и как нужно делать.

Шаг первый: запереть дверь.

Шаг второй: переодеться сплошь в чёрное.

Шаг третий: взять с собой рюкзак, сложив туда на случай необходимости (а такая необходимость неоднократно возникала, иначе данного шага попросту не было бы в моих заметках, добавленных в отцовский дневник, в котором осталось немало пустых страниц и который я таскал с собой на свои ночные вылазки) тёплую одежду (шапку, свитер, куртку), зонтик, сменные носки и футболку/рубашку.

Шаг четвёртый: спуститься вниз не по водосточной трубе (в четвёртую вылазку она утратила надёжность: болты на креплениях расшатались, сама труба в некоторых местах помялась и – совсем чуть-чуть – отклонилась от изначального своего положения; дед это, конечно, заметил и спросил меня как-то раз, не слышал ли я среди ночи каких-то подозрительных, необычных звуков; я ответил, что нет, а он, с подозрением поглядев на меня несколько секунд, принялся затягивать болты и поправлять трубу, насколько это вообще оказалось возможным; и я ему в этом, конечно, помогал), а с помощью верёвки. Этот вариант был, само собой, крайне рискованным. Ведь всегда оставался, пусть и крохотный²²⁹, но всё же шанс, что дед проснётся глубокой ночью и, прежде чем я вернусь и успею избавиться от улики, решит зачем-то обойти дом снаружи. Тогда он увидит верёвку, ему станет очевидно, что я сбегая по ночам. И для меня это закончится плохо. Такого, однако, никогда не бывало. Ну, то есть дед не просыпался среди ночи и не обходил дом снаружи. Он догадался о моих вылазках иначе.

Что же касается верёвки, то оставался ещё шанс (куда больший), что её заметит кто-нибудь из соседей или – что хуже – кто-то из «Качества». Они сообщат об этом деду – и мне вновь несдобровать.

Поэтому важно было – я это понимал – использовать тонкую, но достаточно прочную, чёрную капроновую верёвку. Такую я попросил купить Германа, дав ему денег. Я предлагал выходить ночью со мной – он отказывался.

– Мама же заметит, что меня нет, ты чего!

В школе он передал мне верёвку. Только она была белой.

– Я облазил все магазины, – шептал Герман во время урока в ответ на недоумение, отразившееся на моём лице, – чёрной капроновой верёвки нигде нет.

Оставался только один вариант. Самому из белой верёвки сделать чёрную.

Дома я, понятное дело, заниматься этим не мог. Ибо я собирался использовать баллончик с краской (все прочие варианты сразу отбросил). А мало того, что шум, создаваемый при

²²⁹ Ну или небольшой.

тряске движущимися внутри баллона шариками, наверняка привлёк бы внимание деда, так ещё и пришлось бы расстелить на полу какую-нибудь ткань или что-то вроде того, дабы его не запачкать. Всё это заняло бы много времени, меня бы раскрыли и ничего бы не вышло. Пришлось изрядно помучиться.

Денег на баллончик с краской мне уже не хватало. На карманные расходы мне давал дед раз в месяц. А до начала следующего месяца оставалось около двух недель. Поэтому, набравшись терпения, я стал ждать. Ночами стоял в своей комнате у открытого окна, глядя на прекрасную, звёздную ночь, слыша её манящий зов, обещая непременно окунуться в её ледяную, мрачную, первобытную черноту, хранящую в себе неистовую скорбь веков – скорбь о днях, годах, мгновениях, утраченных навсегда, которые, однако, продолжают взывать к нам.

Так я подхватил простуду и пролежал в постели почти неделю. Мог бы вполне оправиться за три дня, но лечением моим никто толком не занимался. Дед ходил ворчал да ругался. Я слышал его, когда он был в коридоре или у подъездной дорожки. Там он обычно стоял, суровым взглядом обводя свой любимый район; будто пока он смотрит, ничего плохого точно не случится. Хотя дружина²³⁰, им организованная, работала исправно и в их понимании эффективно; но ему было важно вносить свой вклад (ещё и) таким образом. А это несомненно был вклад, да и к тому же вполне существенный. Я уверен, именно так он предполагал, так это воспринимал. Он и его друзья-приятели, которые к нему обычно присоединялись. Их пересуды я и слышал, ибо окно моей спальни выходило к фасаду.

– Что-то не видать твоего внука, – говорил ему кто-то.

– Болеет паренёк, – отвечал дед с явным недовольством. – Хил, слаб здоровьем. Я-то в его годы мог километры пройти по сугробам в старых отцовских ботинках. А этот... пф... – слыша их, я мысленным взором видел, как дед презрительно косится в мою сторону.

– Да они сейчас все такие! Бог знает что! Куда только мир наш катится?!

На третий день меня навестила мама. Я не ожидал её увидеть, и был весьма удивлён. Отцовский дневник, который я продолжал читать, спрятал под подушку. Она вошла с подносом в руках. На подносе я увидел тарелку, ложку и два кусочка белого хлеба.

Выглядела мама хорошо. Но это был совсем другой человек, не тот, что прежде. На лицо её словно набросили тень, а в глазах виднелась какая-то невероятно глубокая тоска²³¹, в которой, казалось, может исчезнуть всё: радость и счастье, бывшее и думы, все лучшие мгновения жизни, красоты мироздания. Мне стало страшно от того, что существует на свете такая тоска, и я вжался в кровать, натянув одеяло до носа.

– Я приготовила тебе суп, – тихо сказала она.

Мне хотелось поблагодарить её, но слова отчего-то застряли в горле... или нет, не так... скорее, они окаменели где-то в животе, чуть выше, у солнечного сплетения, обратились в плотную, тяжёлую грудку камней, нет, в целую плиту – могильную плиту, вероятно, символизируя гибель той связи, что существует обычно между родителем и ребёнком. Так мне тогда казалось²³², такие мысли и образы возникали в моей голове. И я ничего не мог с собой поделать.

Мама поставила поднос на комод, подошла ко мне ближе.

– Ну как ты тут? – спросила она.

Я посмотрел ей в глаза, но тут же отвернулся, не в силах терпеть тяжести одолевавших её чувств, рвущихся наружу, оставляющих следы на её лице, на всём её облике. Я повернул голову влево и смотрел, как вздымается пар над тарелкой, стоящей на подносе, стоящем на комод, стоящем на полу ненавистного мне дома, в котором я провёл так много времени.

²³⁰ Пусть уж простят меня кардиналы... хотя... какого чёрта? Пусть идут лесом.

²³¹ Хотя, чего удивляться? Тоска – она ведь повсюду.

²³² Но я на самом деле ошибался. И понять это смог только в тот день, когда она умерла. Ибо тогда я почувствовал по-настоящему, что связь наша оборвалась. А раз оборвалась, значит, она ещё к тому моменту существовала, никуда она не делась.

«Ты только сейчас меня об этом спрашиваешь?» – подумал я, но не сказал этого вслух. Удержаться, однако, от того, чтобы не высказать другой правды, я не смог. Пусть и собирался с духом некоторое время. Два начала боролись во мне, и я не знал, какое из них является добрым, а какое злым. Так что я поддался тому, что оказалось более напористым, более громким и назойливым, нестерпимым.

– Мне здесь не нравится, – тихо сказал я, рассматривая узор на одеяле.

Мама превратилась в смутное пятно, бесформенное и полупризрачное нечто, которое шевелилось, чувствовало, мыслило, и шум мыслей его, этого нечто, был громче шума, порождаемого его движениями.

Я что-то услышал в ответ. Но, видимо, от того, что мать обратилась в то самое «полупризрачное нечто», её слова стали столь же бесформенными, они теряются в глубинах моей памяти, их, словно как кассетную плёнку, зажёвывает каждый раз при попытке воспроизвести.

Зато следующую свою фразу я помню отчётливо. Это был вопрос. И он звучал так:

– Почему дедушка плохо ко мне относится?

Мама удивилась.

– Разве он плохо к тебе относится?

– Да. Он постоянно всем недоволен, грубо со мной разговаривает, вечно поручает мне что-то, никак не оставит меня в покое, – я приподнялся на локтях и смотрел теперь на мать, но не в глаза, а на её лоб, на её сложенные на коленях руки. – Мам, я не хочу здесь больше находиться. Я хочу домой.

Наступило молчание, которое в такие моменты становится особенно тягостным. Затем мама разрешила это сгустившееся молчание острым ножом своих мыслей, суждений, облачённых в форму слов.

– Дай мне ещё немного времени, – она склонила голову, пальцы её рук сплетались между собой в нервной пляске, словно вели переключку, проверяя все ли из них в строю.

Ну а я молчал и не двигался. Мне хотелось спросить, сколько ей нужно времени, но я посчитал это неслыханной наглостью, ибо знал, зачем ей понадобилось время и как она собиралась им распоряжаться.

– Может тогда ты разрешишь мне одному уходить к нам домой и оставаться там? Хоть иногда! Хоть ненадолго! Иначе я не...

Слова повисли в воздухе. Оборванная фраза, как труп только что несправедливо казнённого бедняги рухнула меж нами, образовав ещё одну непреодолимую преграду. Я оборвал фразу, потому что в тот миг не знал, как её закончить. Я не знал, что будет «иначе». Мне пришлось узнать это несколько позже, ибо мама отказала мне в моей просьбе.

– Я боюсь оставлять тебя там одного, – сказала она. – К тому же, скоро мы вернёмся туда вместе. Очень скоро. А пока я прошу тебя немного подождать.

Она поцеловала меня в лоб, встала со стула и вместо себя водрузила на него поднос с тарелкой супа и вышла со словами:

– Ешь. А то остынет.

Я лежал и буравил взглядом светло-коричневую пиалу с горячим супом. Она казалась мне элементом интерьера, таким же, как стул, стол, комод или та жуткая, отвратительная занавеска из грубой ткани; казалась чем-то таким, что должно всегда тут оставаться. Эта пиала (вместе с подносом) была недостающим элементом какого-то загадочного механизма, шестерёнки которого начали вращаться. И я не знал, к чему приведёт это вращение, от того оно меня пугало. Но какое-то странное чувство, эхо далёких предков, твердило мне, что механизм этот должен вращаться. А последствия – дело десятое. Они станут важными только в том случае, если я опустошу тарелку, наполнив свой желудок её содержимым и обреку пиалу с подносом на вечное изгнание из комнаты, превратив их во что-то, напрочь лишённое смысла.

Я встал с постели, взял поднос с тарелкой, водрузил их на комод. Вернулся в постель, лёг поудобнее и стал смотреть на тарелку с подносом, не отрывая взгляда. Это зрелище от чего-то завораживало меня, волновало так же сильно, как волнует сердце полотна великих художников, вроде Эль Греко, Делакруа, Дали, как волнует всё то вечное и торжественное, что доступно человеку.

Суп я ел остывшим. Но всё же ел. И он был вкусным. Тарелку я вернул на поднос, оставшийся на комод. Я стал смотреть на неё в третий раз. Но теперь в этом была какая-то неприятная дисгармония, некий диссонанс, который пробуждал в моей душе тревогу. Я встал и отнёс тарелку с подносом в кухню.

Оправившись от болезни, я принялся воплощать в жизнь свой прерванный план.

И здесь становился важным шаг пятый моей схемы: избегать встречи с дружиной «Качества». Не выходить напрямик к дороге, идти окольными путями, быть внимательным и осторожным. Из-за этого приходилось – и то была тяжелейшая часть всего плана – выходить из дома без наушников, то есть без музыки, вслушиваться в шум города, людские пересуды, шарканье ботинок по асфальту, шуршанье колёс, стук каблучков. В общем, внимать звукам самой жизни, от которых у меня возникали рвотные позывы, а к горлу подступал комок, и слёзы готовы были пролиться из глаз, расчертив бороздками мои щёки.

Но прежде мне ещё предстояло разобраться с верёвкой.

«Она должна быть чёрной», – говорил я себе и пытался придумать, как и где мне её покрасить.

Герман был не в силах мне помочь. У них крошечная квартирка, а мама его возвращалась с работы уже в четыре часа. Иногда и того раньше.

Отчаявшись, я, в конце концов, просто взял с собой моток верёвки в школу. И когда занятия окончились, я направился не домой, а к лесу и реке, (некогда живой и довольно бурной, но к тем временам уже стремительно теряющей свою силу по непонятным мне причинам), неподалёку от которых располагался элитный район, застроенный (тогда ещё не слишком плотно) большими и высокими, помпезными особняками.

Располагался тот район (а значит и лес, и река) на окраине города, идти до которой было довольно далеко. Пришлось сказать деду, что меня задержали после уроков.

Скрываясь среди деревьев от людских глаз и преисполненных некоторого высокомерия вида особняков, под шиплое журчание слабеющей реки я торопливо раскрашивал верёвку.

Покончив с этим, я сунул верёвку в пакет, а завязанный тугим узлом пакет в рюкзак и никем не замеченный (вроде как) отправился домой.

В ту же ночь я, сбросив привязанную одним концом к батарее выкрашенную в чёрный цвет верёвку в открытое окно и вылез по ней на улицу, навсегда включив после этого в список правил пункт, согласно которому спускаться по капроновой верёвке нужно исключительно в перчатках – те, что можно приобрести в строительном магазине.

Я выбрался на свободу. И она вновь пьянила меня – как в тот день, когда мы с Робертом сбежали с уроков и бродили по городу. Но в этот раз пьянила даже сильнее, ибо я был порабощён и лишён куда большего, чем тогда.

Никто меня не заметил, я покинул ставший знакомым район и двинулся в то место, по которому тосковал больше всего на свете.

Глава 12

Ночь была первозданной и словно возвращала к началу времён. Я шагал в тишине с тяжёлым сердцем²³³, постоянно осматриваясь по сторонам. Перед глазами моими проносились все те ночи, что накрывали землю столетия и тысячелетия назад. То была одна затяжная ночь. Я прикоснулся к ней, взвалив на себя тяжесть вечности. И чувствовал себя лучше, чем прежде.

Я навестил отцовский дом. Внутрь входить не стал, просто сидел на бордюре напротив фасада, сложив руки на коленях, и смотрел на дом, словно ждал от него какого-то ответа. Но дом молчал.

Вспоминая тот день (наряду со всеми прочими днями) спустя годы, я думаю: «Как странно. Обычно жизнь кажется последовательностью определённых событий (плохих, хороших – неважно в данном случае) – последовательностью предельно (ну или хотя бы довольно) логичной: событие «А» возникает по причине «А1», «А2», «А3»... которое сменяется событием «Б», возникшим по причине «Б1», «Б2», «Б3»... Бывает так, что событие «В» и «Г» складываются по причине «Д1», образуя тем самым событие «Д», которое непременно перейдёт в событие «Е». Ну и так далее.

На деле же получается, что всё происходит совершенно случайно и спонтанно. Событие «Е» может являться причиной для возникновения события «В». Оно становится причиной «В1», но не перестаёт быть событием «Е», причиной для которого является сумма причин «С1», «Т2» и «М3». При этом сумма причин «С1» и «Т2» порождает иное событие, или не порождает ничего вовсе. Разница причин «Ш1» и «Г1» порождает событие «Е», потому что причины «Ш1» и «Г1» являются событиями «П» и «О» соответственно. И разумеется, что порядка нет никакого: «Б» может следовать после «Р», а «Ф» предшествовать Л, за которым вдруг возникнет «У». Потому нет ни логики, ни алфавита (как нет за пределами человеческого мира шести часов утра или шести часов вечера). Ведь событий человеческой жизни и причин их породивших, больше, чем букв любого алфавита и букв алфавитов всех языков мира вместе взятых. Алфавит здесь – одна из множества условностей, необходимых человеку для осмысления сущности жизни и преодоления её невероятной абсурдности, отрицающей самого Человека.

Я вернулся под утро к дому бабушки и обнаружил, что верёвки нет. Сердце моё тут же рухнуло куда-то вниз. Я осмотрелся по сторонам. Вокруг пустая улица, соседские жилища и машины. На часах было что-то около пяти утра, может, минут пятнадцать шестого. Ночь постепенно таяла на глазах. Я должен был срочно придумать, как мне попасть в дом.

Взгляд мой первым делом упал на многострадальную водосточную трубу. Это – кратчайший путь домой. Но идею эту я сразу же отбросил, потому что одно дело спускаться по ней – что тоже не так-то просто – и совсем другое – забираться. Я видел себя, запрыгнувшего одним аккуратным (насколько это вообще возможно), но вместе с тем мощным и резким рывком, чувствовал новые вмятины, возникшие на ней от этого, которые потом дед с ещё большим подозрением будет исправлять (ну или пытаться исправить), видел, как ноги мои обхватывают трубу, но я безбоянно скатываюсь вниз снова и снова, чему я не в силах препятствовать, я видел, как руки пытаются делать то же самое, но даже эту неудачу они не в силах повторить, ибо труба для них слишком широка в диаметре. Зацепиться не за что. И это полный провал. Так я понял, что и пытаться не стоит.

Дальше я подумал о задней двери и окнах первого этажа, выходящих на задний двор. Дед на ночь всегда всё запирает. Беспечным его в этом вопросе точно не назовёшь. Хотя и ярый фанатиком безопасности он не был. У него просто осталась привычка с тех пор, когда

²³³ Ведь не было музыки.

в том районе не было никакой дружины, и потому всегда стоило оставаться на чеку. Возраст, однако, всегда берёт своё. Он мог банально забыть (а никому, кроме него, до этого не было дела). На то я и надеялся. Ещё раз проверил обстановку, посмотрев по сторонам, и перепрыгнул через забор. На всякий случай чуть пригнувшись, я торопливо, но осторожно, не создавая лишнего шума, проследовал вдоль стены, повернул направо, забрался на крыльцо, дёрнул дверь. Заперто. Я проверил окна. Бесполезно. В отчаянии я проверил абсолютно все окна в доме и парадную дверь, хотя было сразу понятно, что они-то уж точно заперты, если заперто всё в задней части дома.

Окна не заперты разве что на втором этаже, в спальнях. Становится душно, когда они закрыты наглухо. Поэтому и дед, и мама, и я оставляли на ночь окна чуть приоткрытыми (не всегда, но порой). Моё же как раз было тогда открыто наполовину (примерно). Сумей я как-то до него добраться, проблема была бы решена. Но как до него добраться? Я не знал. И в голову мне лезли самые дурацкие варианты.

«Может сделать из верёвки лассо?» – подумал я.

Целый моток лежал у меня в рюкзаке.

«Нет, – мысленно отвечал я себе на это. – Она для этого слишком лёгкая, её будет уносить ветром. К тому же, мне нечем её отрезать. Не могу же я целый моток пустить на лассо. Это нелепица какая-то. Как и все эти игры в ковбой в целом. Меня точно заметит какой-нибудь дед (или бабка) по соседству, страдающий (страдающая) бессонницей. Может, уже сверлит взглядом и думает: “Какого чёрта этот сопляк торчит возле дома Селеста Гордеева? Надо бы за ним последить”».

«Верёвку, знаешь ли, – продолжал я дискутировать сам с собой, – можно отрезать секатором, который дед хранит в сарае. Как и стремянку, между прочим...»

«Угу... то есть ты предлагаешь выставить тут стремянку, забраться по ней... а дальше что? Её высоты-то не хватит, чтобы дотянуться до окна».

«Не хватит, это верно. Придётся прыгать. И цепляться за приоткрытое окно. Стремянку затащить в комнату. А потом незаметно вынести. Когда дед куда-нибудь уедет, к примеру».

Подавляя в себе желание процитировать Большого Лебовски, я понял в итоге, что мне остаётся только одно: спрятаться где-нибудь на заднем дворе, а когда дед поутру отопрёт одну из дверей, незаметно пробраться в дом, а затем и в свою спальню.

Сидя, или скорее находясь в каком-то полулежащем положении, уперевшись спиной в заднюю стенку сарая, обняв рюкзак и глядя на дверь, что была напротив и чуть слева, глядя в щели между досками, сквозь которые проглядывал пока ещё тусклый свет, я почему-то почувствовал себя страшно несчастным и убогим. Живот скрутило, к горлу подступил комок, на глазах выступили слёзы, и я зарыдал. В тот момент всё внезапно потеряло свой смысл. Какая разница, что дед разозлится, что он меня накажет? Какая разница, что подумают остальные, хоть кто-нибудь и какая вообще разница, что со мной будет дальше? Эти слова звучали в моей голове, пока я продолжал плакать.

Потом я встал, вышел из сарая, пошёл к парадной двери. Она по-прежнему была заперта.

«Время наверняка перевалило за шесть часов», – подумал я, лишённый возможности узнать наверняка.

Я развернулся. Посмотрел на горизонт. Солнце показало макушку. Из маленького, но аккуратного, стильного бежевого домика с крышей из красной черепицы, расположенного по другую сторону улицы, за три дома от того, что напротив нашего, вышел Алексей Лавлинский – мужчина сорока пяти лет в джинсах, тёмно-синей рубашке-поло и такого же цвета куртке. Завидев меня, он улыбнулся, высоко поднял руку в молчаливом приветствии и сел в свою красную машину (не помню марку, да и плохо я в них разбираюсь). Я в ответ слегка поклонился и беззвучно шевельнул губами, в движении которых можно было прочесть слово «Здрасьте».

Но не на том расстоянии, которое разделяло нас. Лавлинский уехал, а за спиной у меня что-то щёлкнуло – это дед повернул замок, отперев дверь.

– Ты что тут делаешь? – спросил дед.

Я повернулся к нему. Он стоял на крыльце, грозно нависая надо мной.

– Собираюсь идти в школу, – ответил я.

– В такую-то рань?

– Ну да. Мне что-то не спалось сегодня. Вот я и решил, что раз всё равно проснулся, когда ещё было темно, то чего дальше валяться без дела? Пойду, как только рассветёт.

Дед более пристально посмотрел на меня, слегка повернув голову, медленно почёсывая свою бороду.

– Что-то я не слышал, как ты вышел из дома...

– Ну да. Я и старался, чтобы слышно не было. Шёл аккуратно, на цыпочках.

– Угу... понятно, – кивнул дед. – Поди-ка сюда, – он поманил меня пальцем.

– Знаешь, – ответил я, – мне уже идти пора, – я двинулся по дороге прочь от него.

– Ничего-ничего, – прервал меня дедушка. – Я много времени не отниму. К тому же, если надо будет, сам тебя в школу отвезу. Иди сюда сейчас же, – он указал правой рукой на то место, где стоял. Словно собаке отдавал команду. Я уже было собирался подойти к нему, ожидая худшего, но жест тот вывел меня из себя. И сделав только шаг навстречу к деду, я остановился и спокойно, глядя ему в глаза, сказал:

– Не подойду.

– Чего? – удивился дед.

– Не подойду, – повторил я.

Он хотел что-то сказать, но я перебил его:

– По-твоему, я, что, пёс какой-нибудь? – я взглядом указал ему на застывшую в приказе правую руку с выставленным указательным пальцем, указывающим в пол крыльца рядом с тем местом, на котором он стоял.

Дед-сосна застыл и с удивлением и злобой глядел на меня. Он ничего не говорил. Я продолжил:

– Как смеешь ты так обращаться со мной?! – мой голос зазвучал чуть громче, я утратил над ним контроль. На некоторых словах он срывался, мне приходилось прерываться и прокашливаться. Да и в целом, звучал он довольно нервно, мне кажется. – Хочешь над кем-то измываться, заведи собаку!.. Хотя, – опомнившись, добавил я, – даже с собакой так обращаться нельзя! Это свинство полнейшее!

Тут дед не выдержал. Видимо, самое последнее слово задело его. Он рассмеялся, а затем бормоча нечто вроде:

– Ах ты, сопляк недоделанный, я тебе сейчас!.. – стремительно, совсем не по-старчески, спустился с крыльца и, прежде чем я успел что-то понять и как-то среагировать, схватил меня за шиворот и потащил к дому.

Я вырвался и прокричал:

– Не смей трогать меня!

Лицо деда вспыхнуло яростью. Он вновь накинулся на меня, схватив на этот раз за ухо. Я простонал от боли, скорчился и весь съёжился, как вянувший под жаркими лучами солнца цветок.

– Пусти меня! – вопил я.

Дед схватил меня теперь за шею и толкнул на лужайку у дома. Я упал. Он тут же подоспел и хватал меня уже двумя руками за плечи, за воротник. Он тащил меня к дому.

– Я тебе покажу сейчас... – цедил он сквозь зубы. – Я из тебя человека-то сделаю...

Дед втащил меня на крыльцо, а я вцепился в перила, в попытке не дать втащить себя в дом. Но противостоять слишком долго, конечно, не мог, дед был гораздо сильнее меня. Держа меня крепко, так, что становилось больно, он пнул входную дверь – та распахнулась – и в следующее же мгновение я влетел через неё в коридор – дед швырнул меня внутрь, как какой-то хлам. Последнее, что я увидел, прежде чем дед вошёл за мной и закрыл дверь, были трое дружинников «Качества», увлечённо и весело о чём-то друг с другом болтающих, только возникших вдали, и фема Ф., что закрыла белую дверь своего кирпичного дома, запахнула полы халата, затянув пояс, и поспешно направлялась в нашу сторону.

В коридоре было темнее, чем обычно. Так мне казалось в тот момент. Я лежал, а дед в который раз нависал надо мной. Теперь, однако, он казался совсем огромным и необычайно грозным.

– Я скажу это только один раз, так что слушай внимательно! Это мой дом, ты здесь живёшь, потому что твой отец...

Стук в дверь прервал речь дедушки. Это была фема Ф.

– Встань, – шёпотом велел мне дед и сам поднял меня. – И чтобы ни звука! Молчи – не то хуже будет.

Дед сделал глубокий вдох, поправил причёску и открыл дверь.

Фема Ф. была мудрой женщиной. И стоя на крыльце, увидев моего деда сквозь приоткрытую дверь, она ни слова не сказала о неприятном инциденте, свидетельницей которого стала. Во всяком случае, она ничего об этом не сказала в тот момент. Потом, когда я буду обитать в доме Кальви, и лишь раз появлюсь в районе, дабы навестить именно фему Ф., мою спасительницу, мою покровительницу, она, в нашу, как окажется, последнюю встречу, расскажет мне о разговоре с моим дедом. В те дни ходить она уже не могла. Её навещали все жители района. А дед, надо сказать, был одним из тех, кто навещал особенно часто, он много ей помогал.

И вот, лёжа в постели, эта благородная, сильная, мудрая, хлебнувшая горя женщина, подобно строгой, но справедливой наставнице, стала отчитывать моего дедушку – высокого, широкоплечего мужчину, наводящего ужас на меня и, вероятно, на всех мальчишек и девчонок округи.

– «Ты сам во всём виноват, – сказала я ему. – Ты бы слишком строг с мальчишкой. Так нельзя. Чего же ты теперь хочешь? Чтобы он навещал тебя, говорил с тобой, как ни в чём не бывало? Ты ж лупил его почём зря у всех на глазах! Думаешь я тогда с утра пораньше пришла к тебе поговорить о крысах в подвале? Бога ради, Селест! – так я и сказала, да. – Ты ведь не глупый человек в конце концов! Я видела, что ты сделал. И это совершенно непростительно!»

Ну а тогда, в самый разгар бури страстей, фема Ф. всего-навсего попросила его о помощи, дескать, ей показалось, что в подвале завелись крысы, и нужно проверить, точно в этом убедиться, чтобы, в случае чего, принять меры. Дед отнекивался, но фема Ф. его упрашивала и упрашивала, так что ему пришлось уступить. Уходя, он бросил на меня суровый взгляд – словно молнией пронзил.

Дверь закрылась, я встал, повернулся и увидел, что на лестнице стоит моя мать, прижав руки к груди. Взгляд её был полон тревог. Я злобно смотрел на неё. Нам обоим хотелось много сказать друг другу. Она, вероятно, выражала сочувствие, сожаление этим своим взглядом; наверняка ей хотелось попросить прощения за всё случившееся, за всё, что мне пришлось переживать, наверняка она сказала бы ещё что-нибудь, не знаю что. Трудно представить, что бы это могло быть. Но какие бы слова мама ни произнесла в тот момент, я наверняка обрушился бы на неё с ругательствами, с едкой и желчной иронией об ожидании, которое буквально прикончит меня. Мы оба знали с ней, к чему приведёт наш разговор, оброни кто-то из нас хоть единое слово. И потому мы молчали. Я стал подниматься по лестнице. Мать смотрела прямо перед собой. Я прошёл мимо неё и отправился в свою комнату, заперев за собой дверь.

И снова это чувство одиночества навалилось на меня. Теперь ещё сильнее. У меня подгибались колени. Я бросил рюкзак к кровати, туда, где стояли все прочие сумки, на его обычное место, наглухо закрыл окно, разделся, разбросав повсюду одежду, лёг в постель, накрылся одеялом с головой и повернулся к стене. В школу я в тот день не пошёл. И дед ничего мне не сказал.

Но на следующий день после занятий в школе он заставил меня выйти в дозор дружины «Качества». Я нацепил эту дурацкую футболку и стал слоняться по улице, сцепив руки за спиной. Через полчаса после того, как я вышел, ко мне присоединилась Тори. Она жила по соседству. Мы познакомились примерно за неделю-две до инцидента с дедом. Случилось это время очередного дозора, который стал для неё первым.

Юная девушка, старше меня всего на полгода (что в нашем возрасте было разницей довольно существенной), высокая, стройная, с волосами цвета тёмного шоколада, в джинсах, больших бело-голубых кроссовках и футболке, которую полагалось носить всем, кто становился «блюстителем порядка». Она выглядела напуганной и растерянной. Мне было её немного жаль.

Мы оставались в пределах своей улицы²³⁴, но на некотором отдалении от наших домов. Улица плавно уходила вверх, затем следовал спуск. Мы стояли на самой высшей точке, откуда открывался вид на ту часть города, которая, вероятно, выглядела в точности, как наша. Скопище разноцветных, но однотипных домов, тесно прильнувших друг к другу, словно люди, застигнутые внезапно сильным морозом, стремящиеся хоть как-то согреться теплом своих тел. Возле каждого дома стояли машины, вдоль дороги тянулись провода, раскачиваемые ветром, а над всем этим нависло грозное небо, в мрачных просторах которого парили птицы.

Зрелище убогое, тоскливое²³⁵. Но ведь и мы пребывали посреди такого же тоскливого убожества. Однако чувства те возникали у нас (у меня уж точно) только когда мы стояли на той вершине и глядели, словно в зеркало, на ту часть города, которая, вероятно, выглядела в точности, как наша.

Тори приходилось нелегко в дружине. Потому что она была девушкой. И не просто девушкой, а единственной девушкой. И очень красивой девушкой. Слишком красивой. Поразительно красивой. Увидев её впервые, я так и подумал: «Какая поразительно красивая девушка. Надо же!» Я был удивлён. Ибо существование такой красоты посреди такого уродства казалось совершенно невозможным. От того её наличие производило столь сильный эффект. Но если я был всего-навсего поражён красотой Тори, как человека поражает, к примеру, красота звёздного неба, то остальные – от мала до велика – были этой красотой сражены²³⁶. В них возникали чувства столь сильные, что совладать с ними они не могли – могли только подчиниться. И подчинялись.

И ладно, когда те чувства были возвышены. Как, скажем, у щуплого Марселя Балморей²³⁷.

Он был младше меня на два года и жил за углом, на улице Арчибальда Губертонга²³⁸, в доме под номером шесть. Учился в той же школе и был членом шахматного клуба, куда зазывал и меня, но я отказывался.

Выходя на его улицу во время обходов дружины, я часто заставлял его медленно вышагивающим из стороны в сторону, с блокнотом и ручкой в руках. Он глядел исключительно либо в свой блокнот, либо на небо, и никогда по сторонам. Над ним нередко подшучивали, потому

²³⁴ Поскольку за каждым отрядом был закреплён свой участок.

²³⁵ Ибо тоска – она повсюду.

²³⁶ А это очень большая разница.

²³⁷ Если не принимать во внимание то, что случилось в дальнейшем, к чему это всё привело.

²³⁸ Арчибальд Губертонг (1927 – 1989) – известный Ребеллионский писатель, поэт, переводчик. Основатель культового журнала «Душегуб», издававшегося и после его смерти, вплоть до 2015 года.

что местным ребятам он казался странным и нелепым²³⁹. А мне нравился²⁴⁰. Мы с ним играли в шахматы без доски и фигур, просто выкрикивая друг другу ходы:

– d4 – я всегда просил играть за белых, потому что не мог держать в голове правильную перспективу за чёрных²⁴¹. Марсель мне никогда не отказывал.

– d5 – отвечал он.

Примерно ходу к двенадцатому я начинал путаться и «терять» некоторые фигуры, то есть забывать, где они расположены. И я сдавался. Если же мне удавалось продержаться чуть дольше, то обычно кто-нибудь из других дружинников молил нас²⁴²:

– Да заткнитесь вы уже бога ради!

И мы затыкались. Я подходил к Марселю ближе, мы шептали друг другу ходы и вскоре я всё равно сдавался. На лице его тогда возникала улыбка. Это был единственный шанс увидеть его улыбку. В остальное время он ходил обычно хмурым.

Но всё изменилось, когда возникла Тори. Исчез блокнот в его руках, прекратились наши шахматные партии. И он всегда смотрел по сторонам – выискивал Тори. А заведя её, собиравшись с решимостью для того, чтобы подойти к ней и заговорить. Это было заметно, потому что в такие моменты он обычно топтался на месте, становился каким-то дёрганым, будто хотел в туалет, но единственная кабинка на всю округу оказалась занята, и вот он не мог дожидаться, когда же она освободится. Всё нервно перебирал он руками, дёргая себя за края одежды, что-то бормоча себе под нос.

Случалось, что Марсель к ней подходил. Я, как правило, стоял рядом или же наблюдал, находясь на некотором отдалении. Разговоры эти были примерно одинаковы.

– Привет! – с почти истеричным энтузиазмом начинал Марсель.

– Привет, – угрюмо отвечала уставшая Тори.

– Как дела? – спрашивал горе-любовник.

– Нормально, – следовал ответ предмета его страстей.

Затем наступало молчание, которое длилось пять шагов.

– Ну а как тебе в дружине? – задавал Марсель новый вопрос на шестой-седьмой шаг. – Нравится?

– Ага. Всю жизнь мечтала просто так шататься по улице и выслеживать, не бросил ли кто фантик мимо урны и не слишком ли громко крикнул на свою жену.

Марсель смеялся. Тори закатывала глаза. Они (или мы) шли дальше.

И это самое безобидное, что с ней случалось.

Обычно бывало гораздо хуже. Подбегал какой-нибудь мерзкий парнишка (таких в дружине, как и везде, было полным-полно), вроде Вальтера Агореева, грубо приобнимал её за плечо и говорил:

– Эй, приветик! Чего такая грустная?

Тори даже не смотрела на него. Скидывала его руку с плеча и торопливо шагала в сторону своего дома.

– Отвали от меня, Вальтер, – говорила она. – Пусть друзья твои тебе подрочат.

Он широко улыбался, обнажая пожелтевшие от сигарет зубы. Улыбка от чего-то старила этого парня лет на десять.

– А мне, может, – отвечал он, – именно твои ручки нравятся. Я знаю тут одни место укромное... пойдём?

²³⁹ Что нас с ним роднило.

²⁴⁰ Потому что было то, что нас с ним роднило.

²⁴¹ За белых тоже получалось плохо, но я хотя бы мог продержаться немного.

²⁴² Если, конечно, не случалось чего похуже.

Он брал её за руку, пытался поцеловать. Тори вырывалась, давала ему пощёчину, но его это только подстёгивало каждый раз. Он мог схватить её за ягодицы, за грудь, приобнять за талию. Заканчивалось всё бурной ссорой и руганью. Тори возвращалась домой. Говорила отцу, что больше не выйдет в этот дурацкий патруль, но не говорила, почему. А он убеждал её, что это необходимо для общего блага. И через несколько дней, если никого из взрослых не было поблизости, всё повторялось вновь.

Я был едва ли не единственным, кто не пытался пригласить её на свидание, не хватал её ни за какие части тела, не говорил гадостей, не кидал сальных шуточек. Уж не знаю, в чём тут дело, но мне просто не хотелось. Я видел в ней прежде всего человека, которому всё это жутко надоело. Жизнь в этом районе, здешние люди. Ей хотелось жить иначе. Я видел в ней соратника. Ибо она испытывала, в общем-то, те же чувства, что и я.

Так мы сблизились, сдружились. За это меня возненавидели остальные парни.

– Этот урод просто сам хочет ей засадить, – сказал как-то раз Вальтер, когда я проходил мимо их компаши. До меня донеслись его слова, я посмотрел на него.

– Чо?! – он обращался теперь ко мне. – Думаешь, если будешь за ней бегать, как шавка, она тебе даст? – он толкнул меня плечом.

Я остановился. Глядел ему в глаза и молчал. Их было человек шесть, наверное. Около того. Стояли за спиной Вальтера. Каждый выкидывал время от времени какую-нибудь фразочку. Они не терпели тишины.

– Ты смотри, как он надулся! – смеялся один.

– Лопнет щас! – поддакивал второй. Смеялись всей толпой. Смеялся Вальтер.

– Чо пялишься?! – сказал он и с силой ткнул меня в грудь. Я сделал шаг назад. Он ткнул меня раз-другой. А я пятился, смотрел на него и молчал.

– Вот ведь придурок! – прошипел Вальтер и врезал мне в челюсть.

Удар был не самым сильным, но его друзья пришли в полный восторг. Хотя я всего-навсего слегка отклонился в сторону. Кровь стучала в висках. Сердце быстро колотилось. Перед глазами у меня возник кучерявый здоровяк Гектор Сува. Мы стоим в школьном коридоре. Вокруг нас толпа. Его кулачище врезается в мой нос, вдавливая его в лицо. Я корчусь и падаю²⁴³, из носа льётся кровь. Гектор Сува исчезает вместе с толпой и школьным коридором. Передо мной теперь Вальтер Агореев – восемнадцатилетний нахальный придурок с бритой головой и в узких чёрных джинсах, который отчего-то решил, что ему дозволено всё.

Я сжал кулак и повторил удар Гектора. Получилось довольно неплохо. Вальтер повалился назад, его подхватили друзья. Тыльной стороны левой ладони он провёл под носом. И посмотрел на красный след, который на ней остался. Затем он бросил на меня свой взгляд. Смотрел так, будто я только что превратил воду в вино.

– Ну всё, – тихо сказал он. – Хана тебе, говнюк.

Их было трое или четверо²⁴⁴ (некоторые стояли в стороне, следили обстановкой вокруг). Они вмиг набросились на меня, повалили на землю, стали лупить ногами. Я закрывал голову (хотя и по ней всё равно попадали; и это было как взрыв) и вертелся, как рыба, выброшенная на берег. Те, кто стояли в стороне, время от времени наблюдали за этим зрелищем, которое явно доставляло им мало с чем сравнимое удовольствие. И они подбадривали тех, кто бил меня, насмехались надо мной. Когда всё закончилось, Вальтер наклонился ко мне и сказал:

– Понял теперь, сучонок, какой у нас тут расклад? Сиди тихо и не рыпайся больше.

И, отвесив мне издевательский подзатыльник, он ушёл.

²⁴³ Хотя я на самом деле не падал тогда. Но именно такой образ приходит мне в голову в тот момент.

²⁴⁴ Или всё-таки шестеро? Никак не могу точно вспомнить.

А я продолжал лежать на холодном асфальте. Лицо горело от боли и стыда, боль отзывалась и в рёбрах, во всём теле. Душа²⁴⁵ изнывала от усталости и бессилия.

А улица была пуста. По небу плыли дома и машины, меня окружали облака и погасшие звёзды. Те, кому полагалось охранять покой и блюсти порядок, только что ушли куда-то прочь, хорошенько отделав меня. Я усмехнулся тогда этой мысли. И впервые осознал, что замысел деда – это полная чушь.

Тем временем невиданная сила тянула меня, заставляя подняться. Я сопротивлялся сперва. А потом до меня донёсся голос:

– Вставай же, ну! Нельзя вот так валяться.

Это была Тори.

Я поднялся. Всё вернулось на свои места. Облака плыли по небу. Дома и машины окружали меня.

– Идём, – сказала она. И я пошёл, ни о чём не думая, не задавая вопросов.

Так я очутился в её доме. Там звучала прекрасная тишина. Шум в голове прекратился, я не слышал биения собственного сердца.

Дом начинался с кухни и гостиной. Кухня справа, гостиная слева. Такое вот зонирование. Дом был совсем небольшим, справлялись, как могли, видимо. От входной двери тянулась дорожка светлого паркета, которая уходила дальше в коридор. Это было единственным (условным) разделением между кухней и гостиной. Гостиная казалась темнее, чем кухня. Там в углу располагался странного цвета диван с подушками. «Странность» цвета заключалась в том, что я не знал, как назвать такой цвет. Что-то среднее между тёмно-зелёным, серым и коричневым. Наверное, если смешать три этих цвета, как раз такой и получится? Я часто видел похожий оттенок в разных местах, но не знал, как его назвать. Раньше я никогда об этом не задумывался. Теперь меня это несколько раздражает, подобно зуду, от которого не можешь избавиться.

Там же, то есть в гостиной, располагалось кресло (у стены напротив окна, выходящего к фасаду), в углу рядом с ним стоял виниловый проигрыватель и небольшой шкаф с книгами и пластинками. Между диваном и шкафом стоял телевизор. Смотреть его в кухне было, вероятно, удобнее, нежели в гостиной,

Окна были завешены белыми жалюзи. В кухне стоял маленький стол, несколько зелёных тумб, раковина, плита, холодильник.

Тори провела меня по паркетной дорожке в ванную.

– Умойся, – сказала она.

Я умылся. Она протянула мне полотенце.

Я вытер лицо и руки, поблагодарил её, вернул полотенце, но Тори велела оставить его в ванной. Так я и сделал.

Затем мы переместились в гостиную. Вернее, это я переместился в гостиную, сев на диван, откинувшись на подушку (что было не очень удобно, поэтому я всё ёрзал), а Тори, развернув стул к гостиной, расположилась в кухне. Нас, как река, разделяла дорожка паркета. Молчание повисло в воздухе, как тучи над землёй. Я продолжал ёрзать на диване, попутно осматривая дом. Тори сидела неподвижно на стуле и смотрела на меня. Это была наша третья или четвёртая встреча.

– Да убери ты уже эту подушку! – не выдержала она. – И ляг поудобнее.

– Да, точно. Спасибо. – мне стало неловко. Я сделал, как она сказала. Подушка лежала теперь под правой рукой. Я прилёг, откинувшись на спинку дивана.

– Лучше? – спросила Тори.

– Лучше, – сказал я.

– Непростой денёк, да?

²⁴⁵ Душа?

– Есть такое, ага.

– Чаю хочешь?

– Ну, можно, – пожал я плечами.

Она стала готовить чай, повернувшись ко мне спиной.

– А что, дома никого нет? – спросил я.

И Тори рассказала, что отец почти не бывает дома. А мама бросила их, когда ей было пять лет.

Отцом Тори был Алексей Лавлинский, разъезжающий на красном автомобиле, предпочитающий синий цвет в одежде. Он трудился на должности аналитика в местном центре социологических исследований. Свободное же время он посвящал «Качеству», являясь одним из приближённых моего деда наряду с Агореевым – отцом Вальтера, Николаем Трезубовым, Бруно Базинка и Брюсом Отрезаускасом. Но иногда случалось так, что он – Алексей Лавлинский – внезапно говорил своей дочери: «Сейчас вернусь», хватал ключи, выходил из дома, садился в машину и уезжал в неизвестном направлении. Он мог вернуться через час, через два, через пять часов. А мог вообще вернуться на следующий день. Когда Тори спрашивала, где он пропал, ответ всегда был неизменен:

– Срочный вызов по работе.

В какой-то момент Виктория – это было её полное имя, которое ей жутко не нравилось – перестала спрашивать.

В тот день, когда банда Вальтера меня поколотила, и мы с Тори сидели у неё – я в гостиной, она в кухне – Алексей Лавлинский домой тоже не торопился.

– А если он вдруг внезапно появится? – спросил я.

– Сможешь сбежать через заднюю дверь, – ответила Тори. – Ну или спрячу тебя где-нибудь.

Она усмехнулась и протянула мне чашку свежесваренного чая; и после добавила:

– Да просто поздороваяешься, – Тори налила и себе чаю, поставила чашку на тумбу и вновь села на стул, – перекинетесь парой фраз и всё. Папа у меня человек адекватный, спокойный, понимающий. Не станет гоняться за тобой с топором и криками: «Что ты сделал с моей дочерью?!» (она изобразила, как бы это могло быть) просто из-за того, что мы сидим у нас дома и мирно болтаем.

– Ну хорошо, – я привстал немного и сделал глоток. – Но вдруг ты плохо его знаешь? – предположил я.

– Собственного отца-то?... –

– Ага, – сказал я и пристально взглянул в глаза Тори. Улыбка стёрлась с её лица.

– Вообще-то да, – начала она, – иногда мне кажется, что я его совсем не знаю, а он не знает меня, да и не стремится узнать.

Мы говорили очень долго²⁴⁶. Об отцах и раннем детстве, о том, как оказались в этом районе, о самом районе и жизни в нём, говорили о друг друге. Наступил поздний вечер. Алексей Лавлинский так и не появился дома, а мой дед, как я узнал позже, искал меня по всей округе (и не сумел найти в доме по соседству); мне потом досталось за то, что я без предупреждения покинул свой пост и ушёл неизвестно куда так надолго.

В тот день, когда я вышел в дружину и встретил Тори после того, как дедушка-сосна под негласным надзором всех соседей задал мне трёпку, она сказала мне:

– Ох и досталось же тебе вчера!..

– Да мне уж не привыкать, – ответил я. – В последнее время отчего-то всем хочется набить мне морду. Дед родной – и тот не сдержался.

²⁴⁶ И сами не заметили, как легко и непринуждённо у нас это вышло.

- Barbarism begins at home, right? – с улыбкой заявила Тори²⁴⁷, пока мы шли вниз по улице.
- Ну-у-у-у... наверное... – несколько растерянно отвечал я.

Тори остановилась. Я продолжал идти. Потом заметил, что её нет рядом, остановился и обернулся.

- Что? – спросил я.
- Только не говори мне ради бога, что ты не слушал The Smiths!..
- Я молчал.
- Ну? Так слушал или нет?
- Слушал, слушал, – испуганно оправдывался я. – Только не понимаю, к чему это всё...
- А что именно ты у них слушал?
- «The Queen Is Dead».
- А «Meat Is Murder»?
- Нет, такое не знаю.
- Ужас! – воскликнула Тори. – Сегодня зайдёшь ко мне. Отца не будет. Я тебе кое-что покажу...

– А мне покажешь?! – возник из ниоткуда один из дружков Вальтера, широко улыбаясь своей кретинской улыбкой, поднимая брови.

Всё, что Тори ему показала – это лишь средний палец; и следом послала его куда подальше. А он, смеясь, действительно удалился в неизвестном направлении. Смех его постепенно затухал среди домов, машин и деревьев.

Вечером мы опять сидели у неё дома. На этот раз она села в кресло, а я, как всегда, расположился на диване. Тори взяла с полки шкафа виниловую пластинку, достала её из конверта, конверт протянула мне, а сама поставила пластинку и включила проигрыватель. Заиграла музыка.

На обложке был изображён солдат. На шлеме у него было написано: «Meat is murder». Я подумал: «Интересное заявление для солдата». Я представил, как он бежит по полю битвы с винтовкой в руках и этой надписью на шлеме, как стреляет из окопа, убивая одного, второго, третьего и как кто-то убивает его самого. Он падает навзничь, роняет оружие, шлем слетает с его головы, а глаза его – погасшие и широко раскрытые – обращены к небу, в котором парят чёрные вороны и в полёте складываются в надпись: «Meat is murder». В следующий миг они ни с того, ни с сего вспыхивают огнём и прахом падают на землю. Прах засыпает тело солдата – так, что его почти не видно. Остаётся только его шлем и надпись на нём, что несколько стёрлась. Одно слово значит теперь на нём: «Murder». И всё.

Звучала первая песня. Я слышал слова, что западали мне в душу.

*I want to go home
I don't want to stay
Give up education as a bad mistake*

Но мелодия, словно тупая игла, не могла пробить даже кожу. Так что я оставался просто заинтригован, чувствуя себя на пороге великого открытия. И чувства мои меня не подвели.

«Nowhere fast» являлась полным отражением того, что творилось в моей душе в последние месяцы жизни. И я испытал шок: кто-то совсем мне незнакомый, бесконечно и во всех смыслах далёкий человек разделял мои чувства и с такой невероятно предельной точностью их описал, передал. Я был тёмной комнатой, в которой внезапно и впервые за долгое время включили свет.

**And if the day came
When I felt a natural emotion**

²⁴⁷ Дескать, ну, ты понял, да?

**I'd get such a shock
I'd probably jump in the ocean
And when a train goes by
It's such a sad sound
No, it's such a sad thing**

– Ты как? – смеясь спросила меня Тори, когда отгремели финальные аккорды последней песни.

– Это что сейчас такое было? – в ответ спросил я; и выглядел при этом явно совершенно ошеломлённым и пришибленным.

– The Smiths! – только и ответила она.

Потом сняла пластинку с иглы и сунула обратно в конверт, который забрала у меня из рук, а конверт вместе с пластинкой вернула на полку. И плюхнулась затем в кресло с чувством выполненного долга.

Тори осознавала всю важность момента. Она совершила для меня невероятно важное открытие. Она стала моим Прометеем. И отдельным удовольствием для неё было наблюдать за тем, как открытие это отразится на мне, и что я буду делать с ним в дальнейшем. Она улыбалась – и то была улыбка ангела, улыбка божества, полная снисхождения, но лишённая высокомерия.

И вновь мы много часов провели за разговорами. Правда, в тот раз говорили не о родителях и окружающей нас действительности, а об искусстве и о нас самих, о том, что для нас важно, что вызывает страсть и неподдельный интерес. Так я узнал, что Тори два года провела в музыкальной школе, откуда потом слёзно просила отца забрать её, ибо занятия не доставляли ей никакой радости, лишь мучали. Отец, нехотя, согласился. И долгое время Тори не могла даже слушать музыку. Из-за этого переключилась на литературу, потому что: «Ну, надо же как-то дни коротать».

– Помогал и телевизор, само собой, – рассказывала Тори. – Мне ведь всегда нужна динамика, знаешь? Такой уж я человек. Музыкальный, в общем-то! Как ни иронично. Просто я не хотела этого признавать, даже думать об этом не хотела. Ну и, короче говоря, металась я от телевизора к книжному шкафу, – Тори осеклась. – Ну, образно, конечно. На таких-то широких просторах особо не разгонишься, не помечешься.

Я издал смешок и понимающе кивнул. Она продолжала:

– Неплохие деньки тогда были. Отец ещё не связался с твоим дедом придурочным. Без обид.

– Да ничего... я к нему сам любви особой не питаю, сама понимаешь.

– ...И не заставлял меня выходить ни в какой патруль, или как там у них это называется... короче говоря, сидела я дома спокойно, смотрела по телеку всякие дурацкие передачи. Все эти, знаешь, викторины, ток-шоу и прочая муть.

– Ага.

– Но иногда, кстати, хорошие программы тоже попадались, – Тори вся оживилась, при-встала, чтобы подогнуть под себя ноги, не отрывая при этом взгляда от меня. – Всякие документалки про животных, про историю. Хотя, я их часто не смотрела. Потому что после школы от подобного меня просто воротило. Это если по ночам только... Так что больше всего я любила фильмы. Их крутили на паре-тройке каналов как раз в те часы, когда я возвращалась домой, и до самого вечера, когда пора было садиться за домашку. Я почти каждый день смотрела по два фильма. «Пёс-призрак: путь самурая», «Мертвец», «Вечное сияние чистого разума», «Криминальное чтиво», «Четыре комнаты», – она всё продолжала сыпать названиями фильмов, попутно сопровождая их именами актёров, режиссёров и своими предельно краткими, обрывистыми впечатлениями, подытожив в конце одной фразой: – Я влюбилась в кино по уши.

– Книги мне тоже нравились, – продолжала говорить Тори. – Жаль, закончились они слишком быстро. У отца их не так много, – она бросила короткий взгляд на книжный шкаф

справа (если смотреть с её перспективы) от неё. – Я прочла «Тетрадь кенгуру», «Исповедь маски», «Кафка на пляже»²⁴⁸...

Дальше я говорил о себе, а она слушала. Но в какой-то момент разговор всё равно вернулся в плоскость обыденности.

– Это ты вчера среди ночи вывесил верёвку из окна? – спросила Тори.

– Да, – удивился я. – А что?

– Да то, что ты балда! Кто ж так делает, дурья твоя башка?!

– Чего ты взъелась-то?! – я испуганно поглядел на Тори, поджал под себя ноги (неосознанно копируя её повадки). Она никогда прежде так не говорила со мной.

– Да беспокоюсь ведь о тебе! – почти кричала Тори, вскакивала с кресла и садилась обратно снова и снова, взмахивала руками, словно отправляла птиц в полёт. – Верёвку было видно! И если бы её заметил твой дед, к примеру, тебе бы сильно досталось. Хорошо, что именно я раньше всех её заметила и успела от неё избавиться...

– А-а-а!.. Значит, это была ты!.. – я растёкся по дивану бесформенной жижей и с облегчением вздохнул.

– Ну да, я. А ты думал кто? – Тори успокоилась и снова стала собой.

– Я думал, дед или кто-то из дружины... о тебе ни за что бы не подумал.

– Почему ты всегда зовёшь их дружиной?.. Ладно, можешь не отвечать. В общем, да, убрала я твою верёвку...

– Спасибо тебе за это большое. Ты меня спасла. Хотя, когда уходил, мне почему-то казалось, что верёвку на самом деле не видно. Хорошо-хорошо, почти не видно. Только не смотри на меня так. Мне от этого не по себе.

Она засмеялась и скорчила рожицу.

– Погоди... – сказал я спустя некоторое время. – А как тебе удалось избавиться от верёвки? Она же была к батарее привязана. И чтобы...

– Знаешь, – начала Тори, встала с кресла и села рядом со мной, – я бы могла рассказать, но... может, сам догадаешься?

Я крепко задумался. Тори терпеливо ждала и не сводила с меня взгляда. Я услышал, как к дому подъехала машина, в окнах промелькнул красный цвет. Двигатель смолк. Хлопнула дверь. Послышались шаги.

– Ты забралась по ней же к окну, отвязала верёвку, прыгнула вниз, взяв верёвку с собой, и ушла.

– Именно! – воскликнула Тори, щёлкнув пальцами.

– Серьёзно?! – вновь удивился я.

А Тори ответила:

– Да нет, конечно! С ума сошёл, что ль? Как ты себе это представляешь?!

И в тот самый момент распахнулась дверь. Следом возникла тишина, нависла, словно тень, над нами.

²⁴⁸ Она назвала ещё какие-то книги, но я их не могу вспомнить.

Глава 13

На пороге стоял хозяин дома, Алексей Лавлинский. Синие брюки, коричневые туфли, кремовая рубашка с коротким рукавом; волосатые руки, в каждой из которых он держал по небольшому бумажному пакету, серебряного цвета часы на левом запястье. Громоздкие и по всей видимости дешёвые. Даже если они были на самом деле дорогими, всё равно выглядели, как дешёвые. На носу очки в толстой, чёрного цвета оправе. Они ему совсем не шли. Оправу стоило сменить. Но никто ему этого не говорил. То ли вежливости, то ли из равнодушия.

Старался быть вежливым (но не равнодушным) и я. Вскочил с дивана, стоило ему войти. Тори лишь повернулась в его сторону.

– Здравствуйте! – сказал я, стоя чуть ли не по стойке смирно.

– О! – поразился Лавлинский. – Доброго вечера, молодой человек! Так у нас гости? – он поспешно оставил пакеты в кухне, вернулся к нам, переступив через дорожку паркета, отряхнул ладони друг о друга, вытер их об брюки и протянул одну мне. Я пожал её. Лавлинский взглянул на Тори и сказал:

– Здравствуй, доча! – он поцеловал её в макушку.

– Привет, пап, – ответила она.

Её отец оказался вполне неплохим парнем. Не то чтобы я думал иначе... но определённые предубеждения на его счёт у меня всё же были, никуда от этого не деться²⁴⁹.

Но при личном знакомстве этот (в чём-то) несуразный с виду отец-одиночка вызывал довольно приятные впечатления. Он не был лишён харизмы, обаяния, он излучал благодное спокойствие, доброжелательность. Однако именно это, как ни парадоксально²⁵⁰, вызывало чувство не самое приятное. Казалось, если каким-то образом²⁵¹ проникнуть в (хотя бы) чуть более далёкие глубины его истерзанной²⁵² души²⁵³, то можно будет обнаружить там нечто тёмное, мрачное, зловещее.

Лао²⁵⁴ стоял и жал мою руку. Он смотрел на меня... нет, скорее изучал, пытался понять, кто я есть на самом деле. Но глазам своим этот учёный-социолог не особо доверял. И стремился потому к более тщательному анализу объекта.

– Ну как у вас тут дела? – спросил он, отпустив мою руку, осматривая дом, как бы ища следы того, чем мы с занимались Тори (аккурат) перед его возвращением.

– Да всё хорошо, – отвечал я, – спасибо. Мы тут музыку слушали, знаете ли...

– О, правда?! Здорово! Что слушали?

– The Smiths, – ответила Тори. – Он раньше никогда не слушал «Meat Is Murder».

– О! – это было, по всей видимости, его любимое восклицание. – Неужели? И как ваши впечатления, молодой человек?

Я на секунду задумался. Этой секунды Тори хватило на то, чтобы вмешаться:

– Он был потрясён, – сказала он, вставая с дивана.

– В самом деле? – с лёгкой улыбкой уточнил Лао

²⁴⁹ Как-никак он оставлял свою дочь совсем одну (пусть и была она довольно взрослой, это неважно; важно, что он предпочитал проводить время где-то ещё, а не с ней), заставлял её выходить в патруль даже после того как она жаловалась ему на происходящее с ней во время этих хождений по району (правда, без всякой конкретики) и просила больше не отправлять её туда (ведь в этом не было необходимости иной, кроме идеологической).

²⁵⁰ И парадокс тут можно усмотреть лишь на первый взгляд.

²⁵¹ Что казалось невозможным (и зачастую таковым это и является).

²⁵² Разве может быть иначе?

²⁵³ Его души?

²⁵⁴ Так я стал называть его с того дня (С того ли дня? Может это случилось несколько позже? Может быть.): «Л» – Лавлинский, «А» – Алексей и «О» – восклицание, которое он так часто употреблял в речи.

– Да, – подтвердил я, несколько смутившись.

Дальше пришлось смущаться ещё сильнее. Ибо мы некоторое время (которое в такие моменты, конечно, кажется, вечностью, не меньше) стояли молча, глядя друг на друга, улыбаясь, вздыхая и прикрываясь междометиями.

– Пум-пу-пу-у-ум... – Лао опирался о кухонную тумбу и глядел по сторонам.

– Да-а-а... – я держал руки за спиной и глядел себе под ноги.

– Угу-у... – Тори перемещалась с пятки на носок и обратно.

Ну а потом Лао пригласил меня остаться на ужин.

– Не скажу, что будет вкусно... – скромничал он, – но обещаю рассказать, как я познакомился с The Smiths.

– Я бы с радостью... но боюсь, дедушка мне не позволит.

– Дедушка? Знаю я твоего дедушку! Я с ним поговорю, не переживай.

С этими словами он распахнул дверь и бодро зашагал через улицу своей странной и несколько дурацкой²⁵⁵ походкой. Подавшись торсом чуть вперёд, Лао покачивался из стороны в сторону, будто плыл по волнам, двигал плечами.

Моему дедушке нравился Лао. Он считал его умным, надёжным, толковым, во всех смыслах умелым человеком. А это было для него главным. Ты можешь мучить животных, пытаться людей, издеваться над детьми²⁵⁶... Но, если ты умён, надёжен и умел, – у тебя есть все шансы понравиться моему деду. И когда ты внезапно возникнешь на пороге его дома одним прекрасным вечером и скажешь:

– Я бы хотел пригласить твоего внука к нам на ужин. Они с моей дочкой вроде как поладили... Ей тут не очень-то нравится... Вечно жалуется она... Хочет обратно, видимо... Было бы здорово устроить для неё что-нибудь приятное. Не видел я, чтобы она улыбалась и была такой живой, пока внук твой у нас не появился... – дед отказать не сможет²⁵⁷.

Мы с Тори вновь сидели на диване. В руках у каждого по тарелке; в тарелке – датский хот-дог и картошка-фри – та, что из супермаркета, замороженная. Алексей Лавлинский стоял перед нами, рядом со столом, за которым, я полагаю, не хотел сидеть в тот вечер. Стол сдерживал бы его говорливость, мешал словоохотливости, помещал в ненужные рамки. На столе стояла точно такая же тарелка, какие были у нас с Тори, с таким же хот-догом и порцией жареной на сковороде картошки-фри. Стояла на нём и белая кружка с чаем. А вот очки в чёрной оправе – лежали. Без них Лао выглядел практически другим человеком. И этот незнакомец, стремящийся освободиться от оков, которые накладывала на него кухонная мебель, горячо, с неприсущими ему, я полагаю²⁵⁸, страстью и увлечённостью (когда-то, возможно, они были ему присущи; но только не теперь) рассказывал о годах своей безвозвратно утраченной юности²⁵⁹. Он обещал рассказать о знакомстве с музыкой The Smiths. Но начал с самого начала – и рассказ его затянулся. Целое действо разворачивалось перед нами. Я, признаться, несколько увлёкся даже. Чувствовал себя так, будто сижу в кинотеатре и смотрю фильм. Ну, почти. Рассказ свой Лао сопровождал крайне активными жестами и движениями. Он иллюстрировал произносимые им слова.

– ...и я махнул им рукой, – он стал махать рукой, показывая, как именно он ею махал, ведь это было очень важно, – они меня заметили, пошли в мою сторону. Я двинулся им навстречу. В руках держал пластинку, – он немного вытянул вперёд согнутые в локти руки. Кулаки были

²⁵⁵ В хорошем смысле этого слова.

²⁵⁶ Не то чтобы Лао делал всё это (или что-то из этого)... это так... для примера просто.

²⁵⁷ Но добавит при этом: «Ты им только спуску не давай! Глаз да глаз за ними! Эта молодёжь!.. А то учудят ещё чего! Потом забот не оберёшься!» (Лао сам рассказал мне; сразу же, как только вернулся; и мы вместе посмеялись над этим).

²⁵⁸ И, вполне возможно, ошибаюсь.

²⁵⁹ Что ещё остаётся, когда юность уже утрачена?

слегка сжаты на уровне груди. Он держал невидимую пластинку – вернее, пластинку, которую видел только он один.

Я слушал эту его историю, но почему-то мог думать только о его очках. Помню, в голове у меня тогда прозвучала мысль: «Надо же! Неужто ношение очков так меняет людей?»

И я взглянул на его очки, лежащие на столе. Сняв их, Лао действительно преобразился, стал другим. Примерно, как Кларк Кент. С той лишь разницей, что Кларк Кент маскировался, надевая и снимая очки. А Лао носил очки, чтобы просто видеть. Может, ему как-то помогало то, что он переставал чётко видеть мир, который становился для него одним смутным пятном, разноцветной пеленой перед его глазами.

История знакомства юного Лао с музыкой The Smiths показалась мне довольно интересной. Одним летним днём шестнадцатилетний Алексей Лавлинский бродил по заброшенному зданию. Это была больница. Он бродил там, потому что дома было скучно, а старший брат частенько донимал его. Все друзья разъехались кто куда. И вот побрёл он по городу²⁶⁰. Точнее, по окраине города, где он жил с семьёй – отцом, матерью, старшим братом и младшей сестрой. До центра путь неблизкий. Да и шумно там к тому же. Поэтому шёл Лавлинский ещё ближе к границе города. Бродил по узким улочкам среди маленьких деревянных старых домиков. В какой-то момент он наткнулся на огромную бетонную коробку, как-то по-злодейски возвышающуюся над всеми прочими строениями. Это и была больница.

– А почему больницу построили на окраине города? – спросил я его. – Не лучше где-нибудь в центре разместить, чтобы всем было удобно добраться?

– Ну, вообще, – начал он, – предполагалось вроде как, что больница будет обслуживать жителей из ближайших деревень и городов поменьше, коими наш город – довольно большой, к слову, – был окружён. Помимо этого... ты вот сказал, мол, «удобно добираться» и всё прочее... так я тебе скажу, что нам – людям, жившим у окраины, не обладавшим такой роскошью как личный транспорт, – добираться до центра было не очень-то удобно. Поэтому было бы вполне неплохо иметь под боком больницу... и торговый центр, пожалуй, – Лао рассмеялся. Я поддержал улыбкой его смех и с пониманием кивнул несколько раз. Он продолжил:

– Однако, тот факт, что её закрыли, наверное, подтверждает твою правоту. В том смысле, что, ну, кому нужна больница на окраине? Никому, видимо... Хотя, дело-то скорее не в этом, но да ладно... Больница, кстати, не выглядела тогда давно заброшенной. Но при этом никто не помнил, чтобы она хоть когда-то была открытой. В массовом сознании это всегда была заброшенная больница. Странно, конечно... и интересно. Тут есть над чем задуматься...

И Лао задумался. Он повернул голову влево, уставившись куда-то. Он размышлял. А мы с Тори доедали свои хот-доги. Затем она взяла у меня пустую тарелку. Отнесла их к раковине. Тогда Лао очнулся²⁶¹.

– Да... о чём это я? О! Точно!.. В общем, шастал я по той больнице. Узкие тёмные коридоры, граффити на стенах, разбитые стёкла повсюду, перевёрнутые каталки, инвалидные кресла, открытые шкафчики, кучи мусора, какие-то вещи... одежду имею в виду. Комками целыми валялась тут и там. Шарфы и куртки, халаты, само собой, штаны, брюки, рубашки и прочее, прочее, прочее. Я это к чему всё? В одной из палат я заметил койку, на которой лежали цветы. Большой такой, – Лао показал, насколько большой, – и свежий букет красных роз. Когда я подошёл поближе, то увидел, что под ним были ещё букеты. Букеты других цветов, совсем вялых уже. Ещё какие-то безделушки там валялись. И... виниловая пластинка. Это оказался дебютный одноимённый альбом The Smiths. На конверте была подпись. Чёрным маркером: «Линде С. от Дерека. Поправляйся. Всё будет хорошо. Я жду тебя».

²⁶⁰ Лао был родом не из Ребеллиона.

²⁶¹ Но не думаю, что одно было связано с другим.

И если ты сейчас подойдёшь к полке, возьмёшь оттуда пластинку The Smiths с дебютным альбомом, то увидишь там эту подпись. Не знаю, кто такие Линда С. И Дерек, не знаю, кто лежал в той палате и не знаю, почему я решил взять пластинку себе. Такое, порой, бывает с людьми: делаешь что-то – и сам не понимаешь, зачем, для чего... что тобой движет? Что-то внутри подсказывает, толкает тебя к этому. И ты повинуюешься. Делаешь. И только потом спрашиваешь себя: «А зачем я это сделал? Зачем мне это было нужно?» В такие моменты чувствуешь себя отчуждённым от собственной своей сущности. От этого страшно становится. Как если бы ты навис над пропастью...

В тот момент показалось, что Лао действительно навис над пропастью. Ибо он замолчал и опять погрузился в размышления, на этот раз более глубокие. Тори успела сделать нам обоим чай, перекинуться со мной несколькими фразами, посреди которых встрял пробудившийся, вернувшийся на землю Лао:

– ...Но я ни о чём не жалею. Благодаря этой находке я обрёл новых друзей, обрёл – что очень важно – надежду, почувствовал впервые в жизни почву под ногами, познакомился с будущей женой... Да уж... музыка меняет судьбы людей. Чаще всего в лучшую сторону. Поэтому музыка для меня очень важна.

Так закончился тот вечер. Первый из многих.

Глава 14

Я стал частым гостем в доме Лавлинских. И от этого почему-то всё больше погружался в отчаяние. Хотя, казалось бы, я проводил теперь меньше времени в доме деда, находился в приятной компании, занимаясь более важными, с моей точки зрения, вещами. Слушал музыку вместе с Тори, говорил с ней о музыке, смотрел иногда фильмы вместе с ней, читал книги. Читать мы могли лёжа в постели в её комнате. Тогда левую половину держал я, а правую – она. Она же и перелистывала страницы. Но иногда я читал ей вслух, иногда она мне.

Комната Тори располагалась в глубине дома. Светло-коричневая дверь с чёрной круглой ручкой вела в тёмную прямоугольную, не слишком просторную коробку из деревянных стен. На окне висели всё те же жалюзи, как в кухне и гостиной. Справа стояла большая двуспальная кровать с серо-коричневым покрывалом и двумя подушками. Слева был шкаф, встроенный в стену. Прямо – стол с компьютером, заваленный книжками да тетрадками. Рядом с ним рюкзак. Справа от стала в углу стоял высокий белый шкаф, разделённый на секции и полки, почти как на соты. На этих полках и секциях было много-много всего. Ещё книжки, ещё тетрадки, какие-то коробочки, шкатулки, статуэтки и фигурки.

Я познакомил Тори с Германом. И он ей понравился. Мы много времени проводили вместе. Гуляли, но всегда за пределами района, в котором жили я и Тори.

Я тосковал по Роберту. Он так и не объявлялся. Его не хватало нашей маленькой компании. Я чувствовал, что мы против всего мира – мира, пропитанного грубостью, невежеством, слепой верой в торжество трезвой повседневности, вынуждающей человека твёрдо стоять обеими ногами на земле и даже не помыслить о том, чтобы хоть разок поднять голову и посмотреть на звёзды. В этом, считали они – мой дед, Лао, Вальтер и отец Вальтера, Гектор Сува, наши учителя и почти все, кого мы встречали на улицах – заключается *Истинное Достоинство Человека*.

Но именно мы, а не они были настоящими ребеллионцами. Эта убеждённость крепла во мне с каждым днём. И пусть Тори была приезжей и ощущала себя чужой, её я тоже считал ребеллионкой. Ещё большей, чем кого бы то ни было. В какой-то момент я стал называть нас «Союз робких»²⁶². И жаждал, чтобы к этому союзу присоединился Роберт.

«Он нам нужен», – считал я, и мыслил себя отважным и храбрым героем, вокруг которого сплотится народ, готовым сразиться со злом во имя высшей идеи. Я был Тесеем, Персеем, Ахиллом, я был Дольфом Весанто²⁶³. Я стоял на краю скалистого обрыва, под которым свирепо пенилось и шипело неукротимое море, готовое поглотить всех и вся своей клыкастой пастью.

И в то же время я был невероятно слаб, немощен. Я был никем и ничем, чёрным липким комком отчаяния и уныния. Вся моя сила исходила от них – от Тори и Германа, от Роберта, что пока ещё не вступил в наши ряды. У людей бывают минуты слабости. У меня же были минуты силы. Всё остальное время я был слаб. Я перемещался между домом Тори, домом моего отца, кладбищем и теми местами, где мы гуляли втроём. Я подпитывался силой от тех мест, от людей, ставших моими друзьями²⁶⁴. Но всякий раз мне приходилось возвращаться в дом деда, в ту душную комнату, что всем своим видом насмехалась надо мной и заставляла чувствовать себя бесконечно одиноким, каким я, вероятно, и был, несмотря на обрётённых друзей. Чего-то мне не хватало. Я не мог понять чего. От этого становилось хуже всего.

²⁶² Это как-то само пришло мне в голову.

²⁶³ Дольф Весанто (1874 – 1901) – предводитель восстания в Гортуссии, национальный герой Ребеллиона, один из его основателей.

²⁶⁴ Я поделился с Тори этими мыслями однажды; она мне сказала, что всё это полная чушь. И сейчас я склонен скорее согласиться с ней. Но тогда – тогда я думал (и чувствовал) иначе.

По ночам я покидал дом дедушки. Я понял, что мне больше не нужна верёвка. Да и никогда не нужна была на самом-то деле. Открыв как-то раз окно нараспашку и высунувшись в него, я посмотрел вниз.

«До земли не так уж далеко, – подумал я. – И если схватиться за оконную раму, повиснуть на ней на вытянутых руках, а затем отпустить, то можно приземлиться без какого-либо вреда для себя. Земля, к тому же, на лужайке деда была довольно мягкой. Прыгать на асфальт я бы вряд ли решился даже с такой высоты. А на лужайку можно. Главное, не торопиться, не спешить. Все движения должны быть плавными. Повис на раме, выпрямил руки. Выждал пять секунд или около того. Отпустил руки. Приземлился. Согнул сразу же ноги в коленях, присел на корточки, вытянул руки вперёд, выдохнул. И всё. Полный порядок. Можно идти.

Приятного в этом, конечно, мало. Боль отдаётся в голених и коленях²⁶⁵. И разумеется, меня несколько раз, несмотря на всю осторожность, ловили дружинники. Иногда прямо возле дома, иногда чуть дальше, бредущим сквозь кусты и деревья. Передавали деду. Он меня наказывал. Я опять сбегал. И так снова и снова. Это превратилось в устоявшийся порядок наших жизней, наших взаимоотношений. Как смена времён года.

И вот однажды, холодной ноябрьской ночью, после очередного наказания, когда мне казалось, что я достиг предела, я вновь сбежал из дома.

Но на сей раз я вышел через дверь, а не через окно. Вышел глубокой ночью, примерно в три часа. Я шёл тихо, но не особо старался скрыть своих намерений. Я был готов к тому, что дед выйдет и попытается остановить меня. Вместе с тем, однако, надеялся, что этого не случится.

Я спускался по лестнице на первый этаж, когда услышал позади шаги. В темноте его фигура казалась ещё более грозной. Я стоял на нижних ступенях, облачённый в чёрное, с рюкзаком за спиной. Он стоял у двери, ведущую в его спальню, в одних трусах и майке. Мы смотрели друг на друга, оба не шевелились. Сиплое дыхание деда нарушало тишину. От напряжения я словно обратился в камень. И желая расколдовать себя, я совершил единственно возможное для меня движение – движение губами и языком:

– Можешь хоть убить меня, но я ухожу, – мой голос, как всегда, подводил меня, он звучал не так твёрдо, как мне хотелось. Это и заставило усмехнуться деда. Во всяком случае, я так думаю. В ответ он сказал мне:

– Надо же! Кто-то, я гляжу, набрался смелости.

Он ждал моего ответа. Но я молчал. И тогда он сказал:

– Уйдёшь сейчас – назад не возвращайся.

Я повернулся и пошёл, так ничего ему и не сказав. Ступени скрипели под моими ногами. Каждый скрип – как удар ножом по сердцу. То страх бил меня. Сильнейший страх. Но назад дороги не было²⁶⁶. И вот уже дверь закрылась за мной. Всё осталось позади. Я чувствовал себя особенно паршиво. И двинулся в сторону вокзала.

²⁶⁵ И сдаётся мне, что нынешняя моя боль в коленях и пояснице – это отголоски тех прыжков.

²⁶⁶ Очередная несусветная чушь. Конечно же была назад дорога. Назад дорога есть почти всегда. Только смерть отрезает нам пути. Но разве можно это понять, пока этого не случилось? Да и даже когда случилось, не всегда это понимаешь. Может, потому всё повторяется вновь и вновь? Может потому всё заканчивается смертью? Потому что ты внезапно всё понял?

Глава 15

Дневник отца потряс меня. Прочитав его, я впервые в жизни понял, что можно совсем не знать человека, с которым живёшь под одной крышей, ближе и роднее которого, как казалось, нет для тебя никого на свете. Можно полностью знать его и в то же время не знать совсем. Можно думать, что знаешь, но на самом деле не знать. Конечно, тут замешана и сама особенность личности отца. Однако, такое сплошь и рядом. Это знакомо многим. Было бы знакомо едва ли не каждому, наверное, если бы все люди на свете действительно стремились к знанию. Обычно же люди стремятся всего-навсего сохранить убеждённости того, что они хоть что-то знают, и чтобы никто даже не пытался эту убеждённость нарушить.

В дневнике отец, помимо прочего, писал о своей неутолимой страсти к музыке, переходящей от страницы к странице в одержимость. Меня это удивило в ту пору. Папа всегда был заядлым меломаном, но я не замечал в нём всепоглощающей любви к музыке. Страницы его дневника убеждали меня всё сильнее и говорили, что я плохо смотрел, раз не замечал чего-то такого. Или, быть может, его меломания являлась тлеющим угольком былой страсти? Что-то заставило отца позабыть о музыке, отодвинуть её на второй план.

Продираясь сквозь заметки, содержащие в себе названия различных групп и записи с мыслями о покупке гитары и создании собственной группы, я, ближе к концу, обнаружил отчаяние, горькое и беспросветное.

«Не выйдет из меня музыканта. Я совершенно бездарен. Идей – великое множество, но мне не хватает таланта и мастерства, чтобы их реализовать. Что же я буду с ними делать? Хочется броситься с обрыва вместе с гитарой. Устал. Завтра отдохну, а потом начну искать работу. К чёрту всё».

Примерно так писал отец. И это был как удар наотмашь. Похлеще, чем у Гектора и Вальтера. Я ходил в патруль, а сам витал где-то очень далеко, всё думал о дневнике, не замечал ничего вокруг. Можно было бы без проблем обчистить мои карманы – этого я бы тоже не заметил. В голове моей вертелись слова:

«Не выйдет из меня музыканта... хочется броситься с обрыва вместе с гитарой».

«Он мечтал стать музыкантом, – мысленно говорил я себе. – Но почему он никогда мне об этом не рассказывал? Об этом хоть кто-нибудь знает?»

Мама, само собой, знала. Но я не спросил её только потому, что мы вообще не разговаривали, я редко её видел. И уже привык к этому. Так что было бы странно прийти к ней и начать расспрашивать о муже, смерть которого она по-прежнему оплакивала.

Я пошёл к дяде Сё. Была холодная осень. В такое время он всегда возвращался. И лежал теперь на кровати в своей спальне, о чём-то размышлял, набирался сил для следующего своего паломничества.

Он принял меня у себя. Был вполне доброжелателен, хоть и немного рассеян (позже я узнал, что это обычное его состояние).

– Присаживайся вон туда, – дядя небрежно указал на стул возле пустого письменного стола, пока сам шёл обратно к кровати.

Я сел. Он плюхнулся в постель, закинул ногу на ногу и стал глядеть в потолок.

– Так чем же я могу тебе помочь, мой добрый друг? – произнёс он так, словно обращался к призраку.

– Эм... да... я хотел спросить, хорошо ли ты знал моего отца?

– Твоего отца, – протянул он по слогам. Вопрос мой его ничуть не удивил. А я ждал от него более живой реакции. Но дядя просто начал рассказывать, демонстрируя, по всей видимости, свою словоохотливость, тщательно (ну или почти тщательно) скрываемую от всех своим

пристрастием к жевательным снекам всех мастей, занимавших его рот, пока он находится в компании – большой или очень малой – людей, которые ему не слишком интересны:

– Впервые некто по имени Эдвин Миллер повстречался мне весной девяностого года. Весной я обычно люблю гулять. Всё вокруг цветёт, оживает... Видеть весну – всё равно что наблюдать сотворение жизни. Разве можно пропустить такое? Вот я и брожу по своим любимым местам, особенно живописным и красивым.

Я возвращался домой. И на подходе, прямо посреди улицы, неподалёку от перекрёстка, меня встретила сестра. Она бежала мне навстречу, вся такая счастливая... Завидев её, я подумал: «Господи, спаси всех нас! Случилось явно что-то непоправимое».

И я оказался прав (кто бы сомневался!). Стоило мне увидеть её глаза... О-о-о! Такой взгляд ни с чем не спутать! Это взгляд влюблённой женщины.

Я знал Эда... вернее, я слышал о нём... ходили они пару раз на свиданки и всякое такое. Но мне и в голову не приходило, что всё так серьёзно. Пока я не увидел её в тот день. Она подошла ко мне, схватила за плечи и стала что-то лепетать да щебетать... не помню уже... спрашивала за чем-то, как у меня дела... не могла перейти к самой сути сразу. А потом такая, мол, хочу тебя кое с кем познакомить. И велела вести себя прилично. Я в тот момент как-то оскорбился даже. Разве я когда-то вёл себя неприлично? Ну да ладно...

– Дядь, извини, конечно, но можно ближе к делу? – попросил я.

Он и тут, мне кажется, оскорбился. Всем своим видом как бы говорил: «Разве могут быть несущественные детали? Разве может быть что-то лишним? Всё на свете есть “дело”. Мы не можем от него отдалиться. А значит и приблизиться к нему нельзя. Ибо ближе просто некуда».

Пришлось слушать весь его рассказ. На это ушло несколько дней, потому что я не мог позволить себе празднично валяться и ничего не делать, как дядя (чем он, конечно, вызывал во мне сильную зависть). То дед позовёт, то уроки делать пора. И я уходил. А потом возвращался. И он всё рассказывал, рассказывал...

– Да, можно, наверное, сказать, что я знал его хорошо, – дядя стоял у приоткрытого окна и докуривал сигарету. Он был одет в чёрное. За окном лил дождь. Виднелось серое небо. Листья на деревьях пожелтели. Я стоял у входной двери и, по обыкновению своему, молча слушал. – Он мне нравился. Не потому, что писал неплохие книжки. Я и прочёл-то всего одну, – дядя бросил взгляд к столу – там, в одном из ящичков, видимо, лежал томик отцовского романа. – Нет, за книги его любили все остальные. А мне просто нравилась эта его очаровательная манера стремиться быть нормальным и от этого становиться ещё более странным. В хорошем смысле слова. Все это замечали, но практически никто не мог объяснить, правильно истолковать такую его особенность. Именно это, я полагаю, делало Эдвина Миллера таким одиноким. И это же в итоге свело его в могилу.

Я был, вероятно, единственным, одним из немногих, кто оказывался способен правильно его понять. Поэтому, я думаю, он указал моё имя в той своей записке. Я её, кстати, храню до сих пор, – дядя бросил окурок в приоткрытое окно²⁶⁷, затем закрыл его и зашторил. Подошёл к столу. Покопался в ящиках и достал оттуда лист А4, на котором было написано последнее послание отца миру: «Не открывай. Позвони Сё», с гордостью его демонстрируя.

Не знаю, о чём он думал, но вызывал во мне лишь горькую, тошнотворную смесь гнева, печали и отвращения. Я ничего не говорил, ибо не хотел грубить. Ведь мне ещё предстояло выведать у дяди кое-что. Но он, судя по всему, и без слов всё понял и, сунув листок обратно в ящик, поспешил объясниться:

²⁶⁷ Нет-нет, всё было не так. Он попытался бросить его в приоткрытое окно одним ловким щелчком, но не попал. Окурок отскочил то ли от рамы, то ли от стекла и упал на ковёр. Дядя спешно подбежал (стараясь сохранить невозмутимый вид), поднял его и бросил в окно, на этот раз, конечно, не промахнувшись.

– Я его храню, потому что это единственное доказательство нашей дружбы... и того, что я хоть что-то значу в этом мире²⁶⁸. У нас с ним ни фотографий не осталось, ни каких-то памятных вещей. Всё только здесь, – он постучал себе лбу двумя пальцами левой руки. – Правда, это и важнее всего, пожалуй. Нужны разве какие-то доказательства дружбы? А если и нужны, то кому?.. Не знаю... С Эдвином всегда чувствуешь себя как-то странно. Ореол «странности» окружает его, и перекидывается на тебя, подобно пламени, если ты слишком сближаешься с ним. Начинаешь чувствовать себя призраком. Будто нет тебя вовсе. И ты, мой юный друг, чувствуешь то же самое. Я знаю, я вижу. Не имею представления, правда, как ты с этим справляешься. Но мне вот приходится искать какие-то артефакты, доказательства того, что я действительно здесь есть. Когда я сплю, то не понимаю, что сплю. И если я сижу перед камином сейчас, то как понять, что я не сплю и мне всё это не снится? Лично мне – Сёрену – одного *cogito* недостаточно. Вернее, оно меня не устраивает. Потому что я слишком глуп, наверное. Мне нужно что попроще, понагляднее. Как, например, та записка, которую он оставил на двери в свой последний день. «Не открывай. Позвони Сё». Вот оно – моё *cogito*. У которого, правда, есть иная сторона. Более тёмная, что ли. В смысле, мрачная, не столь для меня приятная. Ну, ты понял... Блин, опять курить хочется. Какая дурацкая всё-таки привычка... Никогда не кури, ясно тебе? От сигарет одни только беды.

С этими словами дядя взял стул, поставил у окна, сдвинул штору, приоткрыл окно, вытянул из пачки, лежащей на подоконнике, очередную сигарету, снова закурил и продолжил свой рассказ²⁶⁹:

– Так вот... с другой стороны, мне кажется, он написал моё имя – а не чьё-то ещё – только потому, что я не был для него особенно важен, он не беспокоился о моих чувствах. Хотя, когда я только узнал об этом... – дядя Сё замолчал, силясь подобрать более точные слова. – В общем, нелегко мне пришлось тогда, – сдался он. – Пусть для остальных это прошло незамеченным. Прямо как наша с ним дружба. Но так и должно быть, я считаю. Нечего разгуливать перед всеми с душой нараспашку²⁷⁰. Держи при себе свои чувства, мысли, страхи, чаяния, надежды и мечты. Делись только с самыми близкими, важными людьми – теми, кто этого действительно достоин. И будешь в полном порядке, парень.

– Ты знал, что отец собирался стать музыкантом? – спросил я, тем самым как бы игнорируя всё им сказанное.

Дядя обернулся ко мне. Он сделался хмурым. И хмурость эту будто кто-то вылепил на его лице. Но она очень быстро исчезла. Ибо передо мной опять возник затылок дяди, покрытый длинными вьющимися волосами.

– Да, – слышался его голос, – я об этом знал. Так случайно вышло на самом деле, – дядя докурив сигарету, вновь закрыл и зашторил окно, сел на край кровати. Я мог видеть его лицо, его глаза. Он теперь казался чуть менее рассеянным. – Эдвин не особо-то любил об этом говорить, как я понял. Собственно, напрямую мы ни разу и не беседовали на эту тему. Думаю, он и сам смутился, когда вдруг, неожиданно для себя самого, ляпнул про гитару свою... не помню, с чего и откуда это возникло... мы просто бродили по городу, созерцали, что называется, действительность, говорили о всяком. И он такой типа: «Дупло в том дереве напоминает мне о резонаторе моей гитары» – дядя рассмеялся. – Да, конечно, он не так сказал. Но что-то в таком духе, я уж и не помню толком, и не заставляй меня вспоминать... Это был обычный день, обычный разговор, обычная прогулка. Я ему в ответ: «А ты на гитаре играешь, что ль?» Ну и слово за слово, он рассказал о том, что когда-то мыслил себя вторым Ником Дрейком, Рори

²⁶⁸ Я не ожидал от него такой откровенности, но, как оказалось, это тоже была его манера, самая обычная.

²⁶⁹ Да, именно так всё и было.

²⁷⁰ Сложно сказать, кто из нас больше заблуждался, но лично мне всегда казалось, что дядя как раз из тех, кто ходит с душой (?) нараспашку, то есть слова его расходятся с делом. Жаль нет того, кто нас рассудит.

Галлахером или кем-то в этом роде. Только ничего у него не вышло. Он записал дома одну кассету. Смог даже несколько копий сделать. Отправил их местным лейблам... ну, то есть в дома мамаш, у которых жили все эти воротили музыкального бизнеса. Так всё было устроено в те годы. Записью, как это часто бывает, заинтересовался лишь один убогий, никому не нужный соплежуй. Звали его Евгений Чернов. Может, ты о нём слышал. Сейчас у этого «соплежуха», кстати, своя радиостанция; а лейбл с самым идиотским названием в истории – «Пулемёт Чернова» – расположен в огромном, пусть и уродливом, здании близ мэрии. Мамочка им наверняка гордится. Если ещё жива, конечно.

– И что? Отцом-то он занялся?

– Отцом?.. А, ну да... Чернов что-то там суеился, запись вроде бы распространил, распиарил. Продали пару тысяч копий. В независимых и мелких журналах вышли отзывы. Они были не особо-то лестными. Хотя и не плохими, не прям чтобы разгромными, знаешь. Но этого хватило, чтобы убедить папашку твоего, что музыкант из него никудышный. Да только правда в том, что не стоило так вот сразу с плеча рубить, стоило дать себе шанс-другой. Он был вполне себе ничего... Да, до Галлахера далеко было, не спорю. Но я бы такое иногда себе включал. Под нужное настроение вполне себе здоровская штука.

– А ты слышал запись? – спросил я несмотря на то, что ответ был очевиден.

Дядя кивнул.

– Он её хранил у себя в кабинете. В одной из коробок, которых там целая куча. Мне долго пришлось упрашивать его. С первого раза не вышло. Но в итоге он сдался. Отдал мне кассету. Сказал: «Послушаешь дома. У меня нет кассетника», – дядя усмехнулся и добавил: – Забавный он был парень, конечно... Я взял, послушал. Потом вернул ему обратно. Впечатлениями своими поделился. Но Эд не поверил мне, я думаю. Журналюги местные словно мозги ему промыли, собаки такие. И я себе с той поры за правило взял: «Не доверяй журналюгам». Слава богу, они мне редко попадаются.

«Интересно, почему отец хранил запись, раз думал, что она плоха?» – такой вопрос вертелся в моей голове. Но дяде я его не задал. Поэтому сейчас у меня голове вертится другой вопрос: «Почему я не задал ему тот вопрос?» Сплошные вопросы без ответов. Или есть ответы? Если подумать, наверное, всё же есть. Но нужны ли они мне? Нет. Отец хранил всё в подряд, ведомый своей пагубной сентиментальностью, передававшейся мне от него. Я тоже храню многое из прошлого. Разница между нами в том, что я храню предметы, что связывают меня с другими людьми. А он хранил то, что связывало его с тем, каким он был когда-то. Ну, в основном... были там, конечно, предметы, связанные с другими людьми, да. Но их было не так уж много. У меня же на втором этаже вряд ли найдётся хоть что-то, связанное со мной самим и никем больше. И это вышло непреднамеренно. Ибо я осознаю сей факт только сейчас, размышляя об этом. Получается, что мы, в конечном итоге, просто те, кто мы есть. Хотя становимся мы ими как раз в процессе сбора всяких вещичек, в процессе наполнения своих коробочек и тёмных комнат, расположенных в конце коридора второго этажа, скрытых и запертых от посторонних глаз.

Мне больше ничего не нужно. Но я всё ещё жив. Отец давно умер. Что же нужно было ему? Сплошные вопросы без ответов. Или?..

Глава 16

Ночь была прекрасна, но я этого не замечал. Я был разбит, растерян, сломлен. Множество вопросов мучило меня. Ответов не находилось. И я просто шёл, шёл... прям как тот парень из легенды об озере. Мне тоже хотелось исчезнуть из этого мира без следа. Это желание завладело мной, оно вело меня сквозь тьму ночную ко тьме ещё более глубокой.

На вокзале даже в такой поздний час обитали люди. Кто-то спал на скамейке, кто-то сидел и курил, а кто-то беспокойно расхаживал туда-сюда, бормоча какой-то бред.

– Не пускайте его в дом, не пускайте его в дом, – я услышал эти слова только потому, что, когда подошёл к вокзалу, на моём плеере закончился заряд батареи. Я забыл зарядить его накануне. Оказавшись погружённым в музыку города, я почувствовал себя ещё хуже. Голова начала кружиться. Мне казалось, либо меня сейчас стошнит, либо я упаду в обморок, либо всё вместе, а может что похуже. А тут к тому же этот псих продолжал бормотать, и от слов его у меня холодок бежал по спине: – Лезвие на солнце блестит, на солнце лезвие блестит. Хлынет кровь рекою... Жарко!.. Как жарко! Пожар, который всё... кровь! Хлынет кровь! Не пускайте его в дом, не пускайте его в дом, не пускайте его в дом! Всё стгорит дотла.

В каждом безумце есть пророк и в каждом пророке безумец. Впервые те слова его мне вспомнились, буквально возникли предо мною, рухнули в сознание откуда-то из глубокой-преглубокой мрачной тьмы, как кирпич, упавший с крыши, когда не стало Ванессы. Я поразился тому, сколь они оказались точны. Я даже попытался найти того человека. Я сумел вспомнить его облик: смуглая кожа, торчащие во все стороны короткие тёмные волосы, высокий лоб с морщинами, шрам над левой бровью, похожий на басовый ключ, большие глаза, пухлые губы, борода. Он стоял под фонарём. Вернее, ходил от фонаря к фонарю, что горели над платформой. Одетый в широкие коричневые брюки, белую рубашку, от белизны которой мало что осталось и коричневую распахнутую жилетку, он пальцами рассекал воздух, как если бы рисовал что-то на большом невидимом холсте или дирижировал. Его пальцы были толстыми, большими, длинными, хотя сам он был худощав и низок. К этим чужим для него пальцам прилипло что-то чёрное, оно проникло в трещины, коими пальцы были усеяны. Его шрам над бровью сиял белым светом, он походил на луну в этом своём сиянии. Этот человек источал безумие, которым, казалось, можно заразиться. Я искал его. И конечно же, не нашёл.

Железнодорожная платформа была пуста. Рядом со зданием вокзала она хорошо освещалась. Но чем дальше отходишь от здания, тем более тёмной становится платформа. Под ногами моими пролегали рельсы. Вокруг – молодые деревья, кустарники. И больше ничего.

«Ходят ли поезда в четвёртом часу утра? – спросил я себя, распластавшись на рельсах. Я видел небо и звёзды. Я чувствовал холод – и сердце моё понемногу успокаивалось. В руках я держал скомканные наушники и разрядившийся плеер. – Наверное, ходят, – отвечал я сам себе. – Должны ходить. Ведь людям вечно нужно куда-то попасть, вечно куда-то они спешат».

Я закрыл глаза и, погружившись в сон наяву, продолжал говорить с собой.

«Вот я не буду никуда спешить, – успокаивал я себя. – Теперь уж точно. Не стану я жить, как они. Не хочу я этого... Лучше так – навстречу вечности, да со всего размаху...»

В тот миг послышался вдруг шелест листвы. Но ветра не было. Я открыл глаза. И увидел её. Девушку в длинном чёрном платье с рукавами. Она была бледной, как луна и плыла по небу. Создание столь прекрасное не ступает на грешную землю, бережёт чистоту своих ног – чтобы в час предсмертный явиться обессилевшему, измученному тяготами жизни юноше и отвести его туда, где ему самое место – среди звёзд, среди солнца, среди луны и древних богов. И весь мрак ночи льётся из волос её, питает меня, дарует прозрение, бережёт от всех бед и страхов.

Раздвинув ветви совсем юных деревьев, она, кружась и танцуя, двинулась через железную дорогу, мимо меня. Рельсы затряслись подо мной. Но лишь едва-едва. Это значило, что скоро прибудет поезд. А я наблюдал за девушкой и не мог от неё оторваться.

– Эй! – позвал я её, чуть приподнявшись. – Ты чего там делаешь?

Она шла дальше, не обратив на меня никакого внимания.

«Не слышит», – подумал я и позвал громче.

– Э-э-эй! Чего делаешь, говорю?!

Она обернулась. Вынула из уха наушник.

«И правда не слышала, – подумал я. – Настоящая, значит. Не привиделась мне».

– Музыку слушаю, – спокойно ответила девушка. Её ничуть не удивило, что я лежу тут на рельсах, – танцую. – А ты что делаешь?

– Да вот... отдохнуть прилёт, знаешь ли...

– Ну понятно. И как отдыхается?

– Ничего так, вполне неплохо.

– Правда?

– Ага. На звёзды гляжу, думаю о всяком. Тут тихо и спокойно.

– О-о-о... – с любопытством произнесла девушка и подошла ко мне. – Дай-ка я тоже попробую. – она легла рядом.

И я удивился тому, как всё преобразилось. Меня перестали беспокоить распри с дедушкой, стычки с Гектором, Вальтером и всеми прочими. Стыдно признаться, но даже смерть отца вдруг отошла на второй план. Я перестал его оплакивать. Сердце пронзала теперь не скорбь, не горечь утраты, а что-то иное; и тьма будто отступила, и осветилось всё вокруг.

Я не понимал, в чём дело. Знал лишь, что виной всему та девушка, лежавшая рядом со мной на рельсах, рассматривающая звёзды.

– Что слушаешь? – спросил я её.

– Марису Мизеру, – ответила она.

– Чего-чего? – вслух удивился я и привстал теперь так, что нависал над нею. Рельсы затряслись чуть сильнее. Вдали послышался гудок.

– Это японская группа. «Марису Мизеру» – это по-японски, собственно. А так, они – Malice Mizer. Распались, к сожалению, – эти слова она произнесла действительно с грустью, – довольно давно уже. Великая группа. Последний альбом – шедевр настоящий! Ты просто обязан послушать

– Хм... я никогда о них не слышал. А в «Саунде»²⁷¹ есть их записи?

Она задумалась и после ответила:

– Вроде бы нет. Мне брат их диск подарил в прошлом году. А откуда взял, я и не спрашивала даже. В «Саунде» бываю частенько. Там из японского только X-Japan, Luna Sea и the GazettE.

Я слушал её и смотрел не отрываясь. Лишь договорив, девушка в чёрном платье заметила то, как я, окоченев, уставился на неё. Она смущённо улыбнулась, привстала и произнесла:

– Поезд, кажется, уже близко.

Мы были объаты жёлтым светом фар, рельсы тряслись, слышался грохот колёс.

– У тебя глаза зелёные, – сказал я.

Она посмеялась, прикрыв ладонью рот, и ответила:

– Ве-е-рно! Но если мы сейчас не уйдём отсюда, ты их больше никогда не увидишь.

Я быстро встал и помог ей подняться. Мы ушли с рельсов в последний момент. Вагоны проносились мимо и вместе с ними неслись в голове моей мысли:

²⁷¹ «Sound is all around (Salaro)» – сеть музыкальных магазинов, расположенных в республике Ребеллион. Дата основания – 1981 год. Основатель – Грито Богазетти (1955 – 2027 г.).

**And when a train goes by
It's such a sad sound**

Девушка смотрела на вагоны, я смотрел на неё. И когда мы снова могли слышать друг друга, она сказала:

– Ну, что ж, мне, пожалуй, пора, – она двинулась в направлении противоположном тому, из которого явилась. – Спасибо за эту ночь. Было интересно, – она шла спиной вперёд и махала мне.

– погоди! – крикнул я и последовал за ней. Девушка продолжала идти. На ходу я спросил: – Как тебя зовут хоть?!

– Не скажу!

– Почему?!

– А зачем тебе знать?

– Не хочу, чтобы эта встреча прошла бесследно.

Мы шли мимо вокзала в сторону центра города. В одном её ухе оставался наушник. В нём звучала музыка, по всей видимости. Ибо она кружилась в танце, удаляясь от меня. Между нами оставалось довольно приличное расстояние, и мы всё перебрасывались фразами.

– Что плохого во встречах, которые проходят бесследно?

– Некоторые из них просто не должны быть такими.

– И как узнать, какие должны, а какие – нет?

– Сказать мне своё имя – вот как! – выкрикнул я и остановился возле памятника «семёрке Весанто». Он был слева и чуть позади. От него вверх уходила широкая улица, которая разветвлялась перекрёстком. Огни города сияли – они не гаснут никогда. Стояла тишина. Только звук наших шагов и голосов нарушал её. Ни единой души не было поблизости. Девушка в чёрном платье покидала меня. Она кружилась в танце, изящно вскидывала руки, разводила их, склоняла голову. Она была луной и делала меня небожителем.

– Тебе не нужно моё имя, – слышал я её голос. – Просто помни, что я не Malice Mizer.

С этими словами она скрылась меж серых зданий. Я больше не гнался за ней. Я стоял, озадаченный, растерянный, сбитый с толку, обескураженный. Подул холодный ветер. Я тяжело вздохнул, съёжился, сунул руки в карманы, посмотрел на небо. И увидел там луну. Она была необычайно большой и жёлтой – такой же жёлтой, как свет фонарей поезда. В ушах прозвучал резкий, противный гудок и её последние слова: «Просто помни, что я не Malice Mizer».

«Что всё это значит?» – подумал я и неспеша отправился домой, напрочь забыв, что у меня больше нет дома.

Глава 17

Пришёл я уже под утро. Забрался через окно. Что было непросто. То есть сложнее, чем обычно. Но я это сделал. И забравшись, сразу сбросил одежду, прошмыгнул в постель и погрузился в сон, едва успев накрыться одеялом.

Разбудил меня дед. Слишком рано, чтобы я мог ясно соображать и чувствовать себя нормально.

– Ну что ж, – произнёс он совершенно спокойным голосом, таким, который у него редко бывал, – вещи я твои собрал. Отправляйся теперь на все четыре стороны.

– Чего? – я продрал глаза, голова у меня гудела. – Ты о чём вообще?

– Я тебе сказал ночью: если уйдёшь, можешь больше не возвращаться. Ты, правда, всё равно вернулся... Но это ладно. Главное, чтобы сейчас ты убрался отсюда. Не хочу тебя видеть. Ты позоришь меня перед всем честным народом. Я больше не намерен это терпеть.

Мы долго спорили и пререкались. Однако, ни к чему не пришли. Дед настаивал на своём:

– Покинь мой дом.

– И куда же я пойду?

– Не знаю. Не моя забота. Делай, что хочешь. Ты ведь этого как раз и добивался.

Я встал с постели, оделся, взял с собой всё самое необходимое и вышел из комнаты.

В коридоре меня встретила мама. Я сразу понял, что в ней что-то переменялось. Она была полна решимости. Но было неясно, какого рода та решимость. Стало ясно через мгновение, когда мама сказала:

– Подожди меня. Я пойду с тобой.

Я не возражал. Возразил дед:

– Нет, никуда ты не пойдёшь. Тебе нужен покой и уход. А с ним... – он махнул на меня рукой и не закончил фразу.

– Это мой сын. Если ты прогоняешь его, значит, прогоняешь и меня. И раз прогоняешь, значит, нам тут в самом деле не место. Мы уходим.

Мама повернулась ко мне и сказала:

– Подожди меня внизу.

– Я хочу попрощаться с дядей, – ответил я.

– Хорошо, – она кивнула и ушла в свою комнату. Дед пошёл за ней.

Дядя Сё лежал в постели с книжкой в руках. На нём были бордовые трусы, чёрные носки, натянутые до голеней, белая рубашка с расстёгнутыми пуговицами, майка и длинный пёстрый шарф.

– А-а-а, молодой человек! – воскликнул он, заведя меня, и перевернул страницу. – Чем я могу помочь на этот раз?

Я слегка замялся. Лишь с завистью оглядывал его комнату.

«Вот кому всё нипочём, – думал я. – У него тут словно другой мир, подчиняющийся каким-то иным законам».

– Да ладно! – сказал дядя. – Выкладывай. Не тушуйся!

– Мне нужна гитара, – как-то виновато (не знаю, почему) проговорил я.

Дядя закрыл книгу, бросил её на кровать, встал и подошёл ко мне.

– Гитара? – удивился он. – Вот это да! – на обложке книги было написано: «Олдос Хаксли – Двери восприятия».

– Неужто хочешь повторить путь отца?

Я молчал.

– Думаешь, у тебя лучше получится?

Я молчал. И смотрел ему в глаза. Я чувствовал, как злость постепенно наполняет меня.

– Знаешь, – сказал дядя, – а ведь и в самом деле может получиться лучше. Стоит попробовать. Хорошая, я думаю, затея.

Он лучезарно улыбнулся. По-доброму так, что можно было почувствовать душевное тепло его, сокрытое где-то глубоко, тепло такое, которым не каждый может похвастаться. К горлу у меня подступил комок, свело живот. Я изо всех сил сдерживал подступающие слёзы.

– Я помогу тебе. Будет у тебя гитара. Не беспокойся. Только подождать придётся недельку. Это ничего?

– Ничего, – ответил я и прокашлялся. – Спасибо.

– Ну и замечательно, – дядя подошёл к своему столу. – Ты, судя по разговорам, что я невольно услышал, покидаешь наш дом сегодня.

– Угу, похоже на то.

Дядя открыл ящик стола.

– В таком случае, у меня для тебя есть подарок. Подойди.

Я подошёл.

Дядя вручил мне книгу – «Счастливая смерть» Альбера Камю и три компакт-диска – сборник хитов группы The Doors, альбом «Souvlaki» группы Slowdive и «Wish» The Cure.

Я поблагодарил его, мы распрощались. Внизу, у выхода, меня ждала мама. При ней были её чемодан и сумочка²⁷². Дед стоял рядом, говорил ей, что, если она вдруг захочет вернуться, он будет рад.

– Да, пап, – ответила она, хватая чемодан, – конечно, спасибо.

– Я помогу тебе, – сказал дедушка, взяв чемодан.

На улице нас ждало такси. Я сразу сел на заднее сиденье, дедушка положил чемодан в багажник. Они с мамой перебрались ещё парой фраз. А потом она села в машину. Я нацепил наушники. Включил The Doors. Мы возвращались к себе. Я предвкушал окрыляющую свободу, которая была, как мне казалось, уже невероятно близка.

Трудно было поверить, что прошло аж целых четыре года²⁷³. Выйдя из такси, я поглядел на родной дом. Возникло ощущение, будто я его и вовсе не покидал. Вечность прошла или мгновение – никогда нельзя точно сказать.

Сказать можно было только одно:

«Ну наконец-то, боже!» – и выдохнуть при этом с облегчением, войдя внутрь.

Знакомые запахи, знакомые виды радовали глаз, душу²⁷⁴, сердце.

Но не только виды и запахи радовали меня. Было что-то ещё... нечто более тонкое, абстрактное, метафизическое, родом из иного измерения – измерения не как некоей параллельной реальности, а скорее в математическом смысле, или близкого к оному. Как если бы существовала линия координатной плоскости, которую человеческий глаз неспособен разглядеть, существующая при этом объективно. Зримая разумом, а не органом чувств. Вот так, пожалуй. Только то моё чувство, ощущение, что я испытал, когда вернулся домой впервые за долгое время, разум вряд ли мог “узреть”. Он мог его разве что осмыслить. И это, наверное, есть одно и то же. Но не в этом конкретном случае. Мне очевидно и совершенно ясно, что, осознавая и описывая это чувство словами, я не достигаю предельной точности. Я бью куда-то рядом, не более того; и это лучшее, на что я могу рассчитывать.

²⁷² Все прочие наши вещи дед позже сам прислал нам с машиной.

²⁷³ Или около того.

²⁷⁴ Душу?

Как я уже сказал, то было чувство, ощущение – ощущение, будто я обрёл утраченное, нечто такое, чего очень не хватало. Это, как если бы я был часами, висящими на стене, у которых не хватает одной шестерёнки – и потому они не ходят. И тут вдруг кто-то нашёл давно потерянную шестерёнку – или обзавёлся новой – вставил её в часы и завёл их заново. Вот так я чувствовал себя в тот момент. Старыми часами, что вновь пошли. Я обрёл гармонию в душе²⁷⁵. Так это можно назвать, я полагаю.

А потом вновь пришла ночь. Я лежал в своей постели. И меня начала грызть тоска²⁷⁶. Мне вспомнились посиделки с Тори, прогулки с Германом, все эти пейзажи окраины, уродливые в своём стремлении к прекрасному и прекрасные в своей уродливости; вспоминались все эти дурацкие хождения в патруль, общий дух убеждённости в совершении правого дела, который казался мне болезненным и чужеродным; вспоминались дедушка и дядя, вспоминались ночные прогулки и встреча с прекрасной незнакомкой. Я и не подозревал, сколько всего обрёл за то не слишком уж продолжительное время (если сравнивать с тем, сколько я провёл в доме отца), проведённое у дедушки. Я был поглощён своим неприятием перемен, сопротивлением им, стремлением вернуть всё обратно. И вот я вернулся. Но ощущал теперь почему-то лишь тоску²⁷⁷. Незыблемую, необъятную.

«Что это со мной?» – в ужасе вопрошал я неизвестно кого. Я будто подхватил лихорадку. Меня всего трясло, болела голова, виски сжимало, сердце быстро билось. Я повернулся на бок, к стене, и, съжившись, кутался в одеяло. Я не мог заснуть. Однако, главный ужас состоял в том, что мне, судя по всему, хотелось обратно.

«Это пройдёт, – убеждал я себя. – Ты просто запутался. Помни: тебе там было плохо, ты хотел домой. Сейчас ты дома. Всё будет хорошо».

С этими мыслями я наконец заснул.

Рано утром меня разбудила мама. Она хотела отвезти меня в школу. Добираться туда самостоятельно я больше не мог. Вернее, это было бы слишком трудно. Дождаться одного переполненного автобуса, пересаживаться в другой, тратить на дорогу целый час, а то и больше... Возвращаться в прежнюю школу тоже не представлялось возможным. Ибо до выпуска оставалось не так уж долго. Так что было сразу ясно, что каждое утро меня будет подвозить мама. Мы это даже не обговаривали. Но в то утро я пожаловался на плохое самочувствие, и она позволила мне остаться дома.

Пару часов я провалялся в постели. Потом стал разбирать свои вещи, раскладывать всё по местам. Что-то ещё оставалось у дедушки, поскольку мы покинули его довольно спонтанно и в некоторой спешке. Я из-за этого не особо горевал, ведь знал, что скоро они вернуться, как вернётся всё на круги своя. Включая моё самочувствие. Насчёт последнего я, конечно, ошибался.

Умывшись и позавтракав, я отправился в кабинет отца. Это место непреодолимо тянуло меня к себе. А я не особо-то и сопротивлялся. Открыл дверь да вошёл. И сразу ощутил пустоту в душе²⁷⁸, в которую провалился. Она окутывала чёрным пламенем. И я всё горел, горел, никак не сгорая дотла.

²⁷⁵ В душе?

²⁷⁶ Ибо тоска – она повсюду. Даже там, где присутствует гармония.

²⁷⁷ И понятно почему.

²⁷⁸ В душе?

«Вот его проигрыватель, на котором он больше никогда не послушает музыку», – я подошёл к проигрывателю, открыл крышку, сунул вилку в розетку. – Где бы он ни был, ему наверняка его не хватает.

А вот пластинки...», – я подошёл к полке с пластинками, принялся вытаскивать одну за другой, рассматривал их, искал группу Malice Mizer. Но не нашёл.

Поэтому, когда в руках у меня оказалась «Louder than bombs», я выбрал её. Вернее, не то чтобы “выбрал”. Я просто почувствовал, что хочу поставить именно эту пластинку²⁷⁹. Не знаю, почему. Может, меня привлекла обложка. Оранжевая, на фото изображена девушка. Она смотрит прямо в камеру, головой опираясь на согнутую в локте руку, меж пальцев которой зажата сигарет. У неё пронзительный, глубокий взгляд и короткие волосы.

«Кто она? – думал я. – Где теперь? И чем занимается? Что чувствует? Чем заполняет собственную жизнь? Устраивает ли её то, как всё сложилось?»

Я никогда этого не узнаю. Придётся смириться. И выражением такого смирения явились пять коротких движения. Сперва я достал пластинку из конверта. Это раз. Затем положил конверт на стол. Это два. Поставил пластинку. Это три. Включил проигрыватель. Это четыре. И сел за стол. Это пять.

Звучала музыка, а в голове вертелись мысли, образы. Прекрасная незнакомка в длинном чёрном платье возникала передо мной. Она слушала музыку в наушниках и танцевала.

«Как твоё имя?» – спрашивал я.

Она, как и прежде, отвечала загадкой: «Просто помни, что я не Malice Mizer».

«Да я помню, – говорил я. – А что толку? Понятное дело, ты – не Malice Mizer. Они – группа. Ты – девушка. Ты одна. И что? Как мне это понимать?»

Она танцевала. Я размышлял.

«А почему, собственно, её имя так важно? – спрашивал я себя. – Почему я хочу его знать, почему хочу увидеть её? Что в ней такого? Что-то ведь есть... она меня волнует, возбуждает. Она пробудила во мне *нечто*, перевернула весь мой мир с ног на голову. Как же так вышло? Что она такого сделала? Что дарует ей такую способность?»

Как всегда – сплошные вопросы без ответов. Я даже и не пытался найти ответы, знал, что это бесполезно. Знал я также, что и без этих ответов вполне смогу (на этот раз, во всяком случае) обойтись.

«Мне нужно увидеть её хотя бы ещё раз. Остальное не так важно».

Как в альбоме сменяли друг друга песни, так в разуме моём одна мысль, один образ приходил на смену другому. И посреди этой вереницы я пребывал в тоске²⁸⁰ и смятении. Я думал о Тори, Германе и Роберте. Больше всего переживал за Тори. С Робертом мы и так давно не виделись, с Германом увидимся в школе. А вот Виктория...

«Сейчас, – говорил я сам с собой, – она, наверное, гадает, чего это меня нигде не видно, почему я не захожу к ней, не возникаю в её окне и не зову погулять. Нужно будет завтра же к ней наведаться».

Я думал о маме. Из проигрывателя доносились слова, которые потрясли меня:

**I would rather not go
Back to the old house
There's too many**

²⁷⁹ Раз уж Malice Mizer там не оказалось.

²⁸⁰ Ибо тоска – она повсюду.

Bad memories

В тот миг я понял, почему мама не хотела сюда возвращаться и с каким трудом ей это далось. Думал о том, что сейчас она наверняка мучается.

«Но назад дороги нет», – считал я. Вот ведь дурак! Стоило поговорить с ней... Хотя, я даже и теперь-то с трудом представляю такой разговор. Но нужно было что-то сделать. А я не сделал ничего. И всё шло своим чередом.

Глава 18

Я постепенно заново привыкал к жизни в родном доме. Больше времени проводил теперь в кабинете отца, чем в своей спальне. Иногда мне даже казалось, что сейчас вот-вот кто-нибудь (непонятно только кто) постучит в дверь, чтобы позвать меня к обеденному столу и напомнить, что пора бы выходить. Но я такую мысль мгновенно стряхивал с себя, как промокшая кошка стряхивает с шерсти воду.

Маму я видел совсем редко. Правда, когда всё же видел, она казалась чуть более счастливой... или правильной будет сказать более умиротворённой, чем в доме у дедушки, где мне тоже нечасто приходилось её видеть. Она больше не проводила все дни у телевизора в сплошных рыданиях, а занималась домом. Она вдохнула в него новую жизнь, везде прибралась, восстановила после пожара свою мастерскую. Дедушка приходил ей помогать. Я обычно старался не выходить из комнаты, запирали дверь, чтобы не видеться с ним (хотя знал, что он и близко не подойдёт к моей комнате; просто мне так было спокойнее). Но иногда я слышал его голос. А иногда и не слышал, ведь был в наушниках. Он перестал для меня существовать. Как и я для него.

Я навестил Тори. Рассказал ей о случившемся. Она порадовалась за меня, но в то же время была немного опечалена.

– Ты ведь этого и хотел, – сказала она мне. – Так что здорово. Надеюсь, ты теперь будешь лучше себя чувствовать. Хотя, – тут же прибавила она, – мы наверняка станем меньше видеться. Это вот грустно.

– Я буду к тебе обязательно заглядывать, – пообещал я. – Ты мой друг. Я не хочу тебя потерять.

Она улыбнулась. И на душе²⁸¹ мне стало легче.

– Можно тебя обнять? – спросила Тори.

И я без лишних слов обнял её.

Я виделся с людьми, говорил с ними, слушал их, но все мои мысли были о девушке в длинном чёрном платье. В голове без конца вертелись сказанные ею слова, я видел её перед собой, видел её лицо – бледное, как луна, её движения, полные притягательной грации, вновь мелькали передо мной, я чувствовал на спине холод железнодорожных рельсов и жар страсти в груди.

Всё это сделало меня каким-то рассеянным. Я начал забывать, куда положил ту или иную вещь, мог пройти квартал и не заметить этого, мог проехать свою остановку. Раньше со мной такого почти не бывало. А тут... чуть ли не постоянно! Друзья забеспокоились. И я бы, наверное, тоже забеспокоился, если бы не...

– Эй! – щелчок пальцами. Вокруг темно. – Эрик! – чей это голос я слышу? Что происходит? – Я с тобой говорю или где?..

Постойте, я знаю этот голос. Но как же... О!.. Понимаю... Я настолько глубоко погрузился в собственные воспоминания, что они стали реальнее окружающей действительности. И вот поблекла серость могильных камней и неба над моей головой. Я отчётливо вижу теперь дорожку перед домом, голубое небо, яркое солнце и крыльцо, на ступеньках которого сидим я и Роберт.

– Я с тобой говорю! – возмущается он.

– Да-да, я тут, слушаю тебя.

²⁸¹ На душе?

Он усмехается. На нём красная кепка козырьком назад, бежевые шорты, тёмно-серая футболка с принтом The Doors. Огромный Джамбо Моррисон, за спиной которого крошечные Манзарек, Крюгер и... барабанщик. Как звали барабанщика? Я спрашиваю об этом Роберта.

– Кого?

– Да вот, его, – тычу в футболку на портрет того, чьё имя не могу вспомнить. Роберт смотрит на него. Потом на меня.

– Об этом сейчас поговорить хочешь? Серьёзно?

– Да нет, конечно, нет. Увидел их просто, всех по именам помню, кроме барабанщика.

Я смотрел прямо перед собой, сложив ладони вместе. Смотрел на соседский дом, на детей за невысоким забором, играющих вместе. Это были мальчик и девочка лет пяти или около того. Двойняшки, видимо. У обоих светлые, золотистого оттенка волосы. Одеты примерно одинаково. Белые маечки различались только цветом рисунка. Синие бегемотики у мальчика, розовые – у девочки. Мальчик держал в руках зелёную машинку с прицепом, уныло висящим в воздухе, тряс её и что-то говорил девочке. А та качалась на деревянной лошадке и что-то ему отвечала. Мимо проехала низкая и длинная машина цвета металлик с тёмными стёклами. Тогда всё казалось таким нереальным, словно это всегда было воспоминанием. Но сейчас, когда это действительно стало воспоминанием, всё видится отчётливо и кажется гиперреальным, оттиснутым в сознании.

– Я забыл, на чём остановился, – сказал мне Роберт.

– Так начни сначала, – ответил я. – Где пропадал всё это время?

– Ну, – вздохнул он и встал передо мной, – я был в спонтанном паломничестве.

– Спонтанном паломничестве? – я посмотрел на него, щурясь от солнца. – Это как?

Он подумал, затем ответил:

– Это как, когда отец говорит своей семье: «Пойду куплю сигарет», а в итоге больше никогда не возвращается.

– Понял, – я поднялся со ступеней крыльца, отряхнул брюки²⁸², встал рядом с Робертом, сунув руки в карманы. – А теперь давай без аллегорий, серьёзно и подробно, – сказал я.

– Ладно, – ответил он.

Вместе мы зашагали по улице. Прямо как в старые дни. Только чувствовал я себя теперь совершенно иначе.

Я шёл рядом с Робертом, глядя себе под ноги. Старался слушать внимательно, предельно концентрируясь на словах, повторяя некоторые из них про себя.

Из его длинного рассказа я узнал, что пока душа²⁸³ моя пребывала в смятении, а сам я чувствовал себя брошенным и всеми покинутым²⁸⁴, он, по его собственному выражению, «жил полной жизнью».

– Началось с того, что я на лето опять уехал к дяде...

– А где живёт твой дядя? – полюбопытствовал я.

– В Вермиллионе²⁸⁵. Четыреста километров отсюда. Приятный городок на самом деле. Тоже горы, как и здесь, но зелени побольше. Летом там вообще красота. Я был бы не прочь туда переехать однажды. Но не о том речь сейчас...

²⁸² Хотя в том не было нужды.

²⁸³ Душа?

²⁸⁴ Но я, наверное, слишком уж драматизирую (или драматизировал тогда).

²⁸⁵ Вермиллион – город к западу от Ребеллиона. Население – 24 тыс. человек. До 1896 г (если я правильно помню). – Рох-тианская провинция Гортусской империи. Одними из первых провозгласили свою независимость вслед за шествием «Весан-

– Так-так...

– Короче, уехал я туда, и ни на что особо не рассчитывал. Это должны были быть обычные каникулы – в меру весёлые, в меру скучные, унылые; обычные, в общем; ничего такого, что могло бы изменить жизнь – если бы я не познакомился кое с кем.

– Ты про Жизель?

– Нет, – отмахнулся он. – Ну, про неё, конечно, тоже, но я имел в виду другого человека.

– И кого же?

– Парнишку одного. Зовут Эрнест. Ему двадцать три. Нас Жизель одним вечером познакомила. У них там своя компа, они вечно все вместе тусуют... Так вот Эрнест этот музыкант, и он, как оказалось, тоже из Ребеллиона.

– А в Вермиллионе он что забыл?

– Вот слушай дальше.

– Всё, понял, молчу.

– В Вермиллион он пришёл пешком.

– Пешком?!

– Ты обещал помалкивать.

– Да-да, прости.

– Он пришёл пешком. Где-то добирался на попутках. Но основной путь проделал на своих двоих. Тут ты, наверное, хочешь спросить: «Зачем?» Сам он мне сказал, что однажды утром вышел из дома и осознал: жизнь его пуста и бессмысленна. Он тоже спрашивал себя: «А зачем?»

«Зачем я просыпаюсь по утрам?»

«Зачем каждый день делаю то, что делаю?»

«Для чего всё это?»

«Чтобы что..?»

Я поразился тому, насколько мне это знакомо и подумал: «Сплошные вопросы без ответов...». Мне захотелось посмотреть на этого Эрнеста, перекинуться с ним парой фраз.

– В один из таких дней, – продолжал Роберт, – он просто не вернулся домой. И в универ свой он тоже не пошёл. Хотя ему оставалось учиться-то всего ничего. Но он всё бросил. И просто шёл да шёл. Пока не вышел из города.

– Это казалось таким естественным, – рассказывал несколько дней спустя уже сам Эрнест. Нас познакомил Роберт, ясное дело. И втроём мы теперь шли по тем же, всем нам хорошо знакомым улицам. Я слушал, старался помалкивать, не задавая лишних вопросов, и не слишком погружаться в мысли о прекрасной незнакомке, которая всё никак не выходила у меня из головы. – Таким же естественным, как дышать, наверное, – говорил Эрнест. – Не знаю, какое ещё сравнение подобрать. Но у меня не было ни страха, ни усталости, ни сомнений. Я чувствовал лишь, что впервые в жизни делаю что-то правильное. Ходить каждое утро на занятия и думать о том, куда это всё приведёт меня в будущем – вот, что действительно пугало меня. Пугало невероятно сильно. Ну а ты, Эрик? – спросил он вдруг меня. – Думал, что станешь делать, когда школа закончится?

– Да не знаю, – растерявшись, ответил я. – Наверное и не думал... как-то... не знаю... рановато об этом думать, мне кажется.

товцев». Новое название получил из-за лозунга протестующих – «Верный миллиону, верный народу» (под «миллионом» имеется в виду предполагаемое число жертв императорского двора: тут речь не только об убитых, но и о посаженных в крепость Фрушанте, отправленных на каторгу и пр.; только вот потом стало известно, что на тот момент число жертв ещё не дотягивало до миллиона, а находилось на уровне примерно в восемьсот пятьдесят тысяч человек: если память мне не изменяет), – которые мазали лица кровью павших товарищей, раздевались догола, танцевали под музыку, напоминающую «Swamp Thing», и бросались в атаку на гвардейцев императора, увеличивая число жертв до того самого миллиона, о котором они (выжившие или менее радикальные участники протестного движения) постоянно говорили.

– А потом поздно будет. Так что лучше задуматься сейчас. И помни: либо ты принимаешь в жизни решения, либо покорно принимаешь то, что подсовывает тебе судьба. Выбирай.

– Ну ладно, ладно, – вмешался Роберт. – Хватит об этом. Рассказывай дальше. Про паломничество.

– Да... – Эрнест потирал висок. – В общем, шёл я и шёл. И будто прозрел. Никогда столь отчётливо не видел я окружающий мир, саму жизнь, её ритм, движения... Дуновение ветра, шелест листы и растений, взмах крыльев птицы, камни, песок, холмы, горы, безоблачное небо, жирную муху, жужжащую и парящую перед моим носом... Ну и всё такое прочее.

– Ты давай ближе к делу, гражданин поэт. – подгонял Роберт. А Эрнест ответил:

– Тут нет незначительных деталей друг мой. Важна каждая мелочь²⁸⁶.

– Ну хорошо.

– Наберись терпения.

– Понял, понял.

Роберт замолчал. Эрнест рассказывал дальше:

– Близилась ночь. В карманах у меня было немного денег. Ну и небольшая сумка на плече ещё висела. Там ручки, тетрадки всякие. И всё на этом. К вечеру похолодало. А я в одной футболке только. Лето ведь! Я же говорил, что дело было летом? Дело было летом. Начало июня. Я впервые в жизни в незнакомом городе. Совсем один. И некому мне помочь. Но я не отчаивался. О-о-о нет, господа! Нисколько! Без лишней бравады вам скажу. В сердце моём попросту не было места ни печали, ни отчаянию, ни сожалениям, ни горестям. Я был опьянён происходящим, был опьянён своей свободой. Вам случалось ощущать пьянящую свободу? Не отвечайте. По глазам вижу, что да. И это хорошо. Значит, вы осознали, что некогда пребывали в заточении. Может, пребываете в нём и сейчас, но вот это как раз не так важно. Потому что раз свобода вас пьянит, значит, вы умеете её ценить. Это признак благородного и достойного человека. А что значит быть опьянённым свободой или чем-либо ещё? Это значит, быть безумным. И вот в безумии своём я брёл по тёмным улочкам чужого города. В лужах отражался лунный свет, который сам есть отражение света солнечного. Этим я и грелся. Точнее, мыслью о том, что где-то очень далеко, в чёрном и безмолвном космосе вращается огромный огненный шар, от которого исходят лучи света, что помогли возникновению жизни на этой планете. И как луч света преодолевает огромное расстояние, пронзая землю, питая её и всё живое на ней теплом, так я, рождённый людьми, что были рождены от других людей, а те от третьих и так далее, в самое начало мироздания, шагаю теперь по земле, по дороге, кем-то построенной, я вижу здания, кем-то воздвигнутые, я вижу других людей, рождённых когда-то от других людей, что были рождены другими людьми, а те третьими... И я знаю: однажды все эти люди умрут. Умру и я. Здания будут разрушены. Солнце и звёзды однажды погаснут, луна... с ней тоже, наверное, что-то случится. Но придёт на замену, вероятно, что-то ещё. И может кто-то где-то когда-то тоже будет идти, как и я, и думать обо всех и обо всём на свете. Будет видеть отражённый свет какой-нибудь звезды в небе, отражённый в лужах, и скажет: «Да-а!.. Это и есть сама надежда. Ведь надежда – последнее прибежище отчаявшегося горе-мечтателя...»

– Надежда, что ты, наконец, перейдёшь уже к самой сути истории – вот моё последнее прибежище! – завопил Роберт, встав посреди дороги и воздев руки к небу.

Я рассмеялся. Эрнест шёл дальше.

– Мы уже почти там, – заверил он. Что прозвучало двусмысленно. Будто мы шли к какому-то конкретному месту. Хотя мы просто бродили и слушали его рассказ. Но он шёл не по улицам Ребеллиона, он бродил по закоулкам своей памяти и вёл нас по ним. А мы за ним едва поспевали.

²⁸⁶ «Где-то я нечто подобное уже слышал», – подумал я в тот миг.

Но тут вдруг я случайно бросил взгляд на другую сторону улицы. И там я увидел большую (пожалуй, слишком большую для такого скромного магазинчика) голубую вывеску, на которой чёрными буквами было написано: «SALARO» – «Sound Is All Around». В голове у меня в тот миг вновь прозвучали слова: «Просто помни, что я не Malice Mizer». И я обомлел. И напрочь забыв обо всём, пошёл к магазину. Роберт тут же завопил:

– Эй! Ты куда это?! Что вообще за херня со всеми вами творится сегодня?!

– Я понял! – слышал он в ответ мой радостный крик. – До меня наконец-то дошло!

– Чего?! – лицо Роберта сморщилось от недоумения, смешанного с возмущением. Эрнест всего этого не замечал, шёл дальше и рассказывал свою историю.

– Она не Malice Mizer, – бурчал я себе под нос. – Их нет в «Salaro». А она – есть.

Я распахнул дверь музыкального магазина и увидел девушку в длинном чёрном платье.

– Эй, Эрнест, погоди! – послышалось с улицы. В «Salaro» было совсем мало людей. Не тот день недели, видимо, не то время, не тот район. Будь это пятница или суббота, часов пять вечера, где-нибудь в центре, или хотя бы ближе к нему, тогда народу было бы куда больше. Но главное, что *она* была там. А значит, это тот самый день, тот самый час, тот самый район. Это уже потом я узнал, что мы с Робертом и Эрнестом двигались в сторону железнодорожного вокзала, и магазин, в который я, чуть ли не крича «Эврика!», вошёл в тот день, оказался, соответственно, ближайшим к железнодорожному вокзалу. Где-то в получасе ходьбы от него. Зайди я в любой другой магазин, её бы внутри не оказалось. А тут вот она – стоит у полки с вывеской «90-е», держит в руках диск, что-то внимательно изучает. Я подошёл к ней. Она заметила меня только когда я оказался совсем рядом.

– А ты тут что делаешь? – спросила меня девушка в чёрном платье, вытащив из уха один наушник.

– I'm coming to find you, – ответил я, – if it takes me all night.

– Вот как! – она сразу повеселела и широко улыбнулась.

– A witch hunt for another girl, – добавил я.

Незнакомка понимающе кивнула, положила диск на полку и двинулась к другому ряду. А я про себя подумал: «And the smile and the shake of your head. And the smile and the shake of your head...»

– А если серьёзно? – она перебирала диски и почти не обращала внимания на внезапно возникшую мою персону.

– For always and ever is always for you, – не унимался я.

И в этот миг девушка в чёрном платье посмотрела на меня. Взгляд её больших, прекрасных и зелёных глаз был полон нежности. Из динамиков, висящих где-то под потолком, приглушённо доносилась музыка.

Много позднее, когда мы предавались ласкам в полумраке её комнаты, где пахло свечами, а на столе неизменно стояла ваза с гипсофилами, она будет вспоминать ту встречу:

– Ты возник из ниоткуда, и показался мне каким-то взбалмошным. Обезумевшим полубогом, пророком, которого только что посетило откровение. Меня это позабавило, заинтересовало. Но взгляд мой не был полон нежности, тут ты уже выдумываешь. Обычный взгляд, ничего особенного.

– Ну да-а-а!.. –

Она засмеялась и сказала:

– Нельзя наговорить в первую же встречу... ладно, во вторую... неважно. Главное, что нельзя наговорить девушке всяких милых глупостей и думать, что она тут же бросится тебе в объятия.

– Но ведь сработало!
– Да ничего подобного!
Я поцеловал её. Она ответила на мой поцелуй. И затем я спросил её:
– А ты не помнишь, что за песня играла в магазине в тот день? – спрашивал я её.
– Помню, конечно, – отвечала она. – Это была «Pitseleh» Эллиотта Смита.
– А разве не «Souvenir»?
– Не-е-ет! Ты что! В тот день «ХО» целиком крутили. Да и вообще, у нас ведь любят Эллиотта Смита. Сам знаешь почему.
– Oh well, okay.

Когда я всё же перестал без конца цитировать Роберта Смита, мы вместе вышли из магазина. В руках девушка в чёрном платье держала диск с альбомом «If two worlds kiss» группы Pink Turns Blue. Она была довольна. И я тоже. Хотя ничего не купил.

Эрнест и Роберт, увидев меня, подошли к нам.

– Ты чего там пропал? – спросил явно возмущённый Роберт.

– Да я тут встретил кое-кого... – я посмотрел на девушку в чёрном платье. И Роберт посмотрел на неё.

– А-а-а, ну, понятно, – сказал он. – Не хочешь с нами побродить по городу? – спросил Роберт девушку. – Мы болтаем о всякой всячине и страдаем ерундой.

– Звучит, конечно, очень заманчиво. Но у меня тут альбом, который нужно послушать, – поджав губы, она подняла диск так, чтобы он видел. – Так что, ребята, как-нибудь в другой раз.

– Как знаешь, – ответил Роберт.

– Ну, пока, – сказала всем нам девушка в чёрном платье и направилась куда-то прочь.

Я не попрощался с ней, я лишь смотрел ей вслед. И как бы метался между прекрасной незнакомкой и моими друзьями. Роберт это видел, разумеется. И хлопнув меня по плечу, сказал:

– Да иди уже за ней, болван! Уйдёт ведь. Мы тебя тут подождём. Только давай недолго, – добавил он.

– Да-да! – радостно сказал я. – Я быстро! – и тут же помчался за девушкой в чёрном платье. За спиной я услышал слова Эрнеста:

– Парню явно не до нас.

В его низком голосе звучала добрая, отнюдь не едкая ирония. И я от этого тоже повеселел как-то, взбодрился.

– погоди! – крикнул я девушке в чёрном платье. Она не оборачивалась.

«В наушниках», – подумал я и крикнул ещё громче. На спине я чувствовал взгляды моих друзей. Девушка по-прежнему не оборачивалась. Я догнал её, коснулся плеча. И лишь тогда она обернулась.

– Ты чего? – спросила она, увидев меня и сняв один наушник. Брови её были нахмурены, но глаза – неизменно прекрасны.

– Ты так и не сказала, как тебя зовут... – только и проговорил я.

Бледно-розовые губы девушки растянулись в лёгкой улыбке. Она задумалась. Раскрыла было рот, чтобы что-то сказать, но задумалась, уставившись куда-то вверх. И потом произнесла:

– Что в имени тебе моем?

Оно умрет, как шум печальный

Волны, плеснувшей в берег дальный,

Как звук ночной в лесу глухом.

Оно на памятном листке

Оставит мертвый след, подобный
Узору надписи надгробной
На непонятном языке.

Декламируя эти строки, она стала медленно пятиться. Я следовал за ней и сперва не находил, что ответить. Но потом нужные слова сами сорвались с губ моих:

– Well I wonder... – тихо произнёс я. И непринуждённо пожал плечами.

Она загадочно посмотрела на меня, слегка повернув голову, и сказала:

– Интересно, значит...

– Ага.

– Тогда нам нужен «памятный листок».

– У меня ничего нет.

– У меня тоже.

– И что же делать?

– Не знаю.

– А есть чем написать?

– Да.

– Тогда пиши прямо здесь, – предложил я, натянув свою футболку, как холст.

Она посмотрела на меня, пытаясь понять, шучу я или говорю всерьёз²⁸⁷, затем взглянула на футболку, примеряясь и оценивая, насколько она подходит для того, чтобы что-то на ней написать²⁸⁸. И когда ей всё стало ясно, из маленькой чёрной сумочки девушка в чёрном платье достала чёрный карандаш – для подводки глаз, видимо, или что-то в этом роде – и написала на моей серо-голубой футболке своё имя: Ванесса.

И чуть ниже номер телефона: 732-498-53.

После этого она ушла, а я так и стоял там, как вкопанный. Смотрел ей вслед. Сердце моё замерло от восторга. Нельзя было пошевелиться, чтобы не нарушить волшебство момента – самого важного в моей жизни, как я тогда думал²⁸⁹. А в голове у меня тем временем без конца вертелись слова:

**But I watch you like I'm made of stone
As you walk away**

Ко мне подошли Роберт и Нести^{290, 291}. Оба явно были навеселе.

– Так-так, – сказал Роба. – Ну и что тут у нас?..

– Кому-то явно повезло сегодня, – добавил Нести.

– Да он нас не слышит даже. Опять где-то витает.

– На сей раз у него, по крайней мере, есть оправдание.

– Эй, Эрик! Вернись на землю! Нам поговорить надо!

– Да-да, я здесь, я слушаю тебя.

Они оба рассмеялись, Роберт хлопнул меня по плечу, затем приобнял и все вместе мы двинулись дальше, вниз по улице, отдаляясь от девушки в длинном чёрном платье по имени Ванесса.

– Сегодня, – сказал Роберт, – ты обрёл кое-что важное. Но, – добавил он, – это ещё не всё. И если нет больше на нашем пути хорошеньких девушек, которые будут исписывать твою футболку, то заткнись и слушай внимательно.

²⁸⁷ А я говорил всерьёз, конечно.

²⁸⁸ Она вполне для этого годилась.

²⁸⁹ Это вне всяких сомнений один из самых важных моментов моей жизни.

²⁹⁰ Так мы звали порой Эрнеста. С ударением на «е».

²⁹¹ Они, очевидно, устали меня ждать и решили, так сказать, взять всё в свои руки.

Глава 19

Каждый житель Ребеллиона должен быть готов к двум вещам: первая – это дождь, гроза, буря, вторая – бунт, революция, протест. Поэтому как минимум зонтик с собой иметь полагается всегда.

Правда, лично я про зонтик забывал довольно часто. Ещё прежде, чем стать рассеянным. Уж не знаю в чём тут дело. Может в том, что из меня никогда бы не получился образцовый гражданин республики (отсюда, отчасти, произрастала неприязнь деда ко мне – человека, который, как ни странно, был ещё дальше от образа истинного и достойнейшего ребеллионца, но мыслил себя таковым). А может в том, что я никогда не стремился спастись от дождя. Я действительно любил дождь. Он в большей степени чем что-либо ещё позволял почувствовать себя живым.

В тот день, однако, когда на моей футболке красовались имя и номер телефона Ванессы – единственные связующие нас нити – я был совсем не рад, когда увидел на небе сгущающиеся тучи и ощутил на плечах первые капли дождя.

– Нужно срочно где-то спрятаться, – сказал я.

– Зачем? – спросил Роба.

– От дождя надпись смоемся с футболки, – ответил я, съёжившись, стараясь хоть как-то защитить заветные буквы и цифры.

– Вон там есть кафешка, – Эрнест указал на здание, расположенное на углу противоположной улицы. Одноэтажное, длинное, со стеклянным фасадом и надписью «Кафе» из больших, красных, светящихся букв на сером карнизе. Обычное, блеклое заведение, которое только стихийное бедствие может сделать привлекательным.

Я первым вбежал внутрь. Колокольчик над дверью зазвенел. За мной ворвались Эрнест и Роберт. Посетители, коих, к моему удивлению, оказалось довольно-таки много, уставились на нас. И воцарилась тишина. Но длилось это всё мгновение. Потом они вновь вернулись к своим газетам (среди них оказалось довольно много пожилых мужчин, сидящих, в основном, за стойкой у стеклянного фасада), пирогам, булочкам, круассанам, всевозможным десертам, к своим мыслям и вялым собеседникам, к своему остывшему кофе.

Нам достался столик в глубине зала, в самом тёмном углу, с видом на кухню, где разгорались страсти. До нас доносились ругань и сальные шуточки поваров, пересуды официанток о грубых, раздражающих, мерзких посетителях. В остальном же никто не доставлял нам никакого беспокойства. Так что всё было не так уж плохо. Главное, что удалось спастись от дождя.

Сиденья были красными, как буквы на вывеске, а стол – тёмно-коричневым. Эрнест и Роберт сидели напротив меня. Я взял салфетку, положил её перед собой. Взглянул на надпись на футболке.

«Вроде целая», – заключил я про себя и выдохнул спокойно.

– Ну так что? – спросил Роберт. – Ты уgomонился? Мы можем продолжить?

– Да, всё в порядке, – ответил я. – Давайте продолжим.

Эрнест улыбнулся и положил руки на стол, сцепив их в замок.

– Ты, кажется, рассказывал о том, как тебе осточертела брeнность жизни, – напомнил Роберт, – ты ушёл из дома и добрался до другого города. А потом наступила ночь...

– Да, в общем и целом, всё так, – подтвердил Эрнест. – И ночью я совсем околел. Еды раздобыл, а вот с ночлегом возникла проблема. Денег не хватало. В итоге я заночевал в парке. И к слову, был не один такой. Куда ни глянь – всюду бродяги. Разве что деревьев только больше. Да и то не намного, пожалуй. Но зато в своей гармоничности они деревьям ничуть не уступали. Казалось, будто парк для того и создан, чтобы в них ночевать. Иначе и быть не может.

К нам подошла официантка. Блондинка лет двадцати. В коротком платье в красно-белую полоску и белом фартуке, с волосами, собранными в хвост и с бейджиком, на котором было написано имя: Шарлотта. Или может наша официантка вообще выглядела иначе? Может, ту блондинку я на самом деле увидел в кино когда-то, её образ оказался более ярким и заменил собою настоящую официантку? Как несправедливо по отношению к ней!.. Хотя, нет, нет, я уверен, что она выглядела именно так. Я у неё попросил тогда ручку²⁹². Она подошла к нам, классическим, отработанным жестом всех официанток вытащила из фартука блокнот с ручкой и устало произнесла:

– Вы уже готовы сделать заказ?

А я ей в ответ:

– Да, готовы. Но можно сперва одолжить у вас ручку?

– Ручку? – удивилась она.

– Да, мне срочно нужно кое-что записать. Спасибо большое.

Я взял у неё ручку, написал на салфетке²⁹³, лежащей передо мной: «Ванесса, 732-498-53». Вернул ручку официантке. Затем мы все дружно сделали заказ, официантка его приняла и удалилась²⁹⁴. Нести продолжил свой рассказ:

– Я сидел на скамейке, сгорбившись, обхватив себя руками. Весь дрожал от холода. Слева от меня, через две скамейки вокруг одного бродяги собралась целая толпа. «Ну ты даёшь, дядя Штиль», – сказал кто-то из них, обращаясь к этому самому бродяге. Мужичку на вид лет шестьдесят уже, наверное. Кожа смуглая, щетина седая, лицо в морщинах, на голове чёрная шапка, в руках бутылка. Он, я так понял, что-то то ли рассказывал, то ли объяснял толпе. А может и всё это вместе. Его мне плохо было слышно, толпа гудела куда громче. Они смеялись и веселились. Потом вдруг кто-то сказал: «А чего этот парень там делает?» Перебросились мы парой фраз. Ну и в итоге влился я в их компашку. Вполне приятные люди. Со специфичным чувством юмора, конечно... но зато не злонамеренные. Это самое главное. Прощупывали они меня, естественно, задавали разные вопросы, не особо заботясь о такте и приличиях. Я понимал, что врать не стоит, однако и лишнего о себе рассказывать не собирался. Они мне дали выпить стаканчик, кто-то одолжил на время свою куртку. «Согрейся, дружище, – сказал он. – Я пока в порядке».

До глубокой ночи мы сидели, стояли и расхаживали вокруг дяди Штиля. Он, как мне объяснили позже, – местная живая легенда. Чуть ли не достопримечательность. Поэтому да, ему действительно самое место в парке, и в каком-то смысле то, что я сказал про гармоничность и прочее, действительно справедливо. Для него уж точно. Когда-то давно дядя Штиль был самым обычным человеком. Хороший дом, приличная работа, семья, жена, дети, полный набор. А потом что-то с ним случилось. Тут уже версии разнятся. Я за ночь вариантов шесть-семь точно услышал. Один рассказывал, будто он убил всю свою семью, отсидел за это четверть века в тюрьме и затем перебрался сюда. Другой говорил, что дядя Штиль сошёл с ума, сжёг свой дом, бросил жену и детей (но не убил их) и опять же перебрался сюда. Третий убеждал меня, что первый и второй, да и вообще все, с кем я ещё буду разговаривать, несут бред, и только он знает правду. А правда такова: на самом деле дядя Штиль был моряком. Отсюда его прозвище. Которое он, правда, получил на берегу, от «сухопутных крыс» на складе, где Штиль стал работать после того, как расстался с жизнью морской. Почему расстался? Да потому что

²⁹² Уверенность, правда, в правдивости и точности этого конкретного воспоминания берётся у меня не из факта об одолженной ручке, а из нашего с ней (и когда я говорю «нашего», я имею в виду всех нас троих – и меня, и Роберта, и даже Эрнеста, пожалуй; вроде бы они успели познакомиться) впоследствии довольно тесного знакомства. Ведь Шарлотта вместе с Сашей – своим парнем – станет частью «Отбросов общества».

²⁹³ Попросив Роберта продиктовать мне, что написано у меня на футболке.

²⁹⁴ Удалась походкой, красноречиво заявляющей всему миру сколь сильно обладательницу этой походки всё в этой жизни достало. «Давно тут работает», – предположил я, глядя ей вслед.

совершил нечто такое, что не позволяло ему больше оставаться на корабле и быть моряком. Нечто постыдное, такое, о чём не говорят. Но, само собой, это всё равно просочилось в мир. И ему пришлось делать ноги. Вот он и оказался в новом для себя городе, за тысячи километров от родной гавани, где начал жизнь сначала и где никто не знал о его секрете.

Как по мне, все эти версии, и другие, которые не вспомню уже, чушня полная. Многое в них не вяжется... Да и понятно, что людям просто нравится болтать всякое. Кого волнует правда, когда перед глазами такой колоритный персонаж, не правда ли? Это меня наталкивает на мысли, что в каждом бродяге умирает хороший (ну или неплохой, по крайней мере) писатель.

Сам дядя Штиль мне понравился. Приятное он производит впечатление. Харизмы ему не занимать. Да и на безумца совсем не похож. Трезво рассуждает. Даже когда выпьет полбутылки креплёного.

– А почему он у них считается живой легендой? – решил уточнить я.

– Что? – переспросил Эрнест, будто не расслышал меня.

– Ну, ты сказал, что он у себя на родине считается живой легендой, чуть ли не достопримечательностью. Так почему?

– А-а-а... тут всё просто.

Подошла официантка, принесла наш заказ. Оставила его на столе и ушла. Я глотнул кофе, ожидая интереснейшей развязки. Эрнест сказал:

– Этого никто не знает.

– То есть как? – поразился я и поставил чашку на блюдце.

– Да вот так. Он местная легенда, потому что он местная легенда. Это типа как самоисполняющееся пророчество, как вещь в себе...

– Вещь в себе? – не понял я.

– Ну да... Кант там, все дела...

– Короче, – вмешался Роберт, – суть не в этом. Расскажи ему, что было утром.

– Хорошо. Утром я проснулся в какой-то ночлежке. Туда меня отвёл один парень. Судя по всему, они там часто ночуют. Это ветхое, заброшенное здание, похожее на музей. Выглядит так, словно в любой момент готово рассыпаться. Но зато там теплее, чем на улице. Так вот... просыпаюсь я и вижу: стоит парень. Тощий, среднего роста, волосы русые, короткие, прилизанные. Весь из себя денди такой. В начищенных туфлях, выглаженных брюках, рубашке, жилетке, пиджаке и пальто. Стоит и взглядом меня сверлит. Я сперва подумал, мне кажется. Но потом глаза продрал как следует и понял: в самом деле на меня пялится. Я думаю: «Чего ему надо вообще?» Как-то разозлился даже. И стоило только мне это подумать – он вдруг тут же оживился. Прежде просто таращился на меня своими глазами, не двигался с места. Да и вообще не шевелился. Тем самым разве что жути навёл. Хотя потом говорил, что не собирался. Просто манеры у него такие... Ну и говорит он мне такой: «Как ваше утречко сегодня, добрый друг?» А я ему: «Да вроде ничего, спасибо». «Что я могу для вас сделать?» – спрашивает. И я думаю: «Чего? В смысле? Что за бред с утра пораньше?» Он видит замешательство на моём лице и добавляет: «Может, вам нужно что-нибудь? Может, не хватает чего-нибудь? Я могу помочь». «И с чего бы вдруг?» – подумал я. А он, будто слышит мои мысли, отвечает: «Я просто люблю помогать людям. Это моё хобби, если так можно выразиться». Я поразмыслил над его словами и решил, что либо парень не в себе, либо на следующее утро я проснусь без почки, если приму его смутное, неразборчивое предложение. Поэтому я лишь сказал: «Не заслони мне солнца», повернулся на другой бок, свернулся калачиком и закрыл глаза, пытаюсь вернуть утраченный сон.

Мне это, однако, конечно, не удалось. Иначе я бы вам это всё сейчас не рассказывал.

– Ну и что дальше? – спросил я.

– А дальше раздался смех. Парень сказал: «Неплохо, неплохо». Ему понравилась цитата. И он попросил меня уделить ему пятнадцать минут. Обещал взамен накормить и дать денег. Там остальные сразу налетели, как голуби. «Возьми меня!», «Нет, меня!». Помешались мгновенно. Однако он всех осадил. «Господа, господа! – повторял парень, весь из себя важный такой. – Я сюда непременно ещё вернусь. И тогда мы с вами потолкуем... Но сегодня, боюсь, я вынужден отвергнуть все ваши, вне всякого сомнения достойные, кандидатуры». Он продолжал сверкать красноречием. Только это не особо помогало. В помещении стоял галдёж. Он наклонился ко мне и тихо произнёс: «Я думаю, если вы отвергнете моё предложение, вам тут не сладко придётся». И я подумал: «Да, ты, чёрт возьми, прав».

Мы вышли на улицу. Было прохладно. Он предложил сесть в его машину и доехать до местечка, которое ему нравится посещать каждый раз, когда он навещает в тот город. «Это ресторан в северо-восточной части, – сказал парень. – Называется “Три шляпы, два пальца”». Я ответил, что не хочу никуда ехать, так как у меня свои планы, да и больше пятнадцати минут ему уделять я не намерен (хотя, по правде говоря, я просто опасался всего и вся в незнакомом городе).

Он согласился пройтись пешком и зайти в первое попавшееся заведение. Примерно, как мы сделали сегодня. Разве что дождь нас с ним не подгонял. Ну а расположились мы в похожем месте. Только сели у окна. И людей там было поменьше. Да и в целом, поуютнее как-то. Я заказал себе кучу еды на завтрак. Куриный суп с лапшой, бефстроганов, греческий салат, кофе, два пончика, кусок пирога и луковые колечки (потому что я обожаю луковые колечки, могу есть их каждый божий день, и если оказываюсь в кафе или ресторане, что случается не так уж часто, то непременно их заказываю). Кстати говоря!.. – тут он подозвал официантку и попросил принести ему порцию луковых колечек. – И пока я ел, – продолжал рассказывать Эрнест, – парень этот произносил свою речь: «Я полагаю, мне нужно представиться, – начал он, попивая чёрный чай из чашки. – Меня зовут Соломон Кальви²⁹⁵, – он говорил именно так торжественно, как ожидаешь от такого человека и именно так, когда слышишь от кого-нибудь, что ему требуется непременно представиться, – и я ищу молодых, никому неизвестных писателей, музыкантов, поэтов и художников по всей бывшей Гортусской империи», – сказал он. Я в ответ спросил: «А зачем вы их ищете?». Соломон поставил чашку на блюдце и, глядя мне в глаза, принялся выдерживать драматическую паузу. Когда нам обоим стало очевидно, что дальше тянуть некуда, он ответил: «Я хочу им помочь».

– Помочь? То есть как?.. – спросил я.

– Да, – ответил Эрнест, – я задал тот же вопрос. И он мне рассказал, что недавно закончил строительство какого-то там дома. И из этого дома собирается сделать пристанище для юных творцов что в начале пути.

– Пристанище? Чего?.. – не понял я. – Зачем?..

– Ну, сам Соломон видит это примерно следующим образом: он предоставляет свой дом, где собираются музыканты, поэты, писатели, художники и прочие. Каждый выставляет на всеобщее обозрение своё творчество. И получает таким образом зрителя.

– А в чём его выгода? На кой ему оно надо вообще?

– «А я не ищу выгоды», так он мне сказал. И добавил: «Денег у меня предостаточно. Я просто люблю искусство, ценю творчество и истинный талант. Когда-то я и сам мечтал стать писателем. Пробовал писать даже. Но ничего не вышло. Поэтому я хочу иметь хоть какую-то причастность к искусству. А это – единственный доступный мне способ».

– Окей. Но зачем вы мне это рассказываете?

– Мы хотели спросить тебя, – сказал Роберт, – нет ли у тебя на примете кого-нибудь?

²⁹⁵ Важная деталь: его звали Соломон Кальви-младший. Или Второй. Но ему не нравилось, когда кто-то к нему так обращался. Поэтому сам он всегда опускал эту приставку.

– Кого-нибудь, кто мог бы подойти этому вашему Соломону?..

– Да, – подтвердил Роба. Эрнест вслед за ним молча кивнул.

Я задумался. В голову мне сразу пришла Тори. И Марсель. Я тогда не знал ещё есть ли у него творческие стремления, увлечения, но почему-то подумал, что он непременно хорошо впишется в подобную среду, и там ему будет лучше, чем среди Вальтера и ему подобных.

– Пожалуй, что есть, – ответил я, но с некоей осторожностью и подозрением.

– Тогда приводи их тоже, – сказал Эрнест. – Мы собираемся в субботу, в восемь вечера. Будет здорово.

– А приносить что-нибудь с собой нужно?

– Ну, если у кого-то из вас есть что-то... песни, стихи, не знаю, роман, может быть даже, что-нибудь такое... то да, приносите. Но в целом, это пока необязательно. У нас всё-таки первая встреча. Ознакомительная, так сказать. Поэтому...

– Ладно, я подумаю.

– «Подумаю»? – усмехнулся Роберт. – Чего тут думать? Ты разве этого не чувствуешь?

– О чём ты?

– Что-то скоро произойдёт. Что-то очень важное.

– Откуда ты знаешь?

– Оно витает в воздухе, – он смотрел вверх и по сторонам, будто и правда что-то видел. – Это что-то большое, значительное. Оно наполнит смыслом наши жизни. Вот увидишь. Ты, главное, не тушуйся. Хотя... дело твоё, конечно. Лично я не хочу упускать такого шанса, – он сделал паузу и некоторое время нас окружала тишина. Мне казалось даже, что всё кафе умолкло. Но это, разумеется, было не так. Затем Роберт добавил: – Было бы здорово видеть тебя рядом с нами. Так что приходи. Иначе мне будет тебя не хватать.

Странные чувства меня охватили, когда я услышал это от него. Слова отнюдь ему не свойственные. Я пребывал одновременно и в смятении, и в восторге²⁹⁶. Я был смущён, польщён и совсем немного растерян. Я пообещал, что приду. Они обрадовались. Эрнесту принесли его луковые колечки, и он обрадовался ещё больше. С довольным видом стал их жевать.

– Хочешь? – спросил он меня и пододвинул тарелку.

– Давай, – ответил я, взял колечко, обмакнул в соус и съел.

– Эй, а мне?! – Роберт потянулся к тарелке и взял себе несколько.

Дождь заметно стих. В кафе по-прежнему было шумно²⁹⁷ и людно. Я смотрел на улицу сквозь стекло фасада. Я видел лишь крупные капли дождя, что медленно падали с края крыши, видел асфальт и лужи на нём, видел кусок здания с зелёной вывеской напротив. Я смотрел на всё это и вдруг подумал: «Интересно, а как там сейчас Ванесса?»

²⁹⁶ Хотя, «восторг» – это, конечно, слишком сильно сказано.

²⁹⁷ Я отчего-то ощутил теперь это ещё сильнее.

Глава 20

Я позвонил ей на следующий день. Хотел позвонить сразу после встречи с Робой и Нести. Но я вернулся поздно. К тому же неожиданный спор с мамой о том, во сколько мне должно возвращаться домой, отнял некоторое время. Пришлось ждать до утра. Однако слишком рано звонить тоже не полагается. Так что я, вырвавшись из беспокойного сна в час, который человечество обозначило цифрой пять, повалялся немного в постели, барахтаясь в своих мыслях, и затем отправился в кабинет отца (предварительно, конечно, умывшись, почистив зубы и позавтракав). Там я занял себя тем, что принялся выбирать, какую музыку буду слушать, какая из них наиболее точно отразит моё настроение. Я довольно долго копался в отцовской коллекции; и конечно, я что-то выбрал. Но как ни стараюсь, не могу вспомнить что именно. Взором памяти я вижу мои руки, что сперва берут пластинку. Потом они вынимают её из конверта, кладут конверт на стол, а саму пластинку ставят в проигрыватель, опускают иглу, включают его. Звучит музыка. Однако, что это за музыка? Тогда я её слышал. Теперь же я глух к ней. Возможно потому, что все мои мысли занимала девушка в длинном чёрном платье. Её зовут Ванесса, номер её телефона – 732-498-53. Я видел перед собой её лицо, её руки, её глаза. Я вспоминал её облик и голос. А теперь я вспоминаю, как вспоминал их. Она была со мной. И я спрашивал себя: «Почему? В чём дело? Я постоянно думаю о ней. И как же мне теперь быть?». Я сидел в кресле, откинувшись на спинку, глядел в потолок и, как это часто бывало прежде и будет в дальнейшем, мучил себя вопросами, не слишком утруждая себя поиском ответов, заранее зная, или скорее предчувствуя, предвосхищая отсутствие оных где-либо, у кого-либо.

Без конца думать о Ванессе было приятно и в то же время мучительно. Приятно, так как я впервые в жизни испытал всю грандиозность трансцендентности, нечто вроде астрального выхода из тела, я стал чем-то большим, чем я есть, мир больше не вращался вокруг меня одного; а мучительно, поскольку я не мог это прекратить, то чувство захватывало меня целиком и было неподвластно моей воле.

В 13:00 я спустился в гостиную, сел на диван и попеременно смотрел то на часы, то на телефон.

«Наверное, уже можно», – говорил я себе. И тут же отвечал:

«Нет, стоит ещё немного подождать».

«Зачем?»

«Ну а вдруг она ещё не вернулась из школы? Наверняка ведь она учится в школе».

И я ждал, ждал и ждал. Весь мир, вся вселенная перестала существовать. Погасли звёзды, в пыль разлетелись планеты, исчезли дома, машины, люди. Были только часы, телефон, цифры его номера – 732-498-53 – и девушка в длинном чёрном платье по имени Ванесса. В какой-то момент, правда, возникла мама. Она вернулась... не помню, где она была. Ходила куда-то по своим делам с утра. И войдя в дом, удивилась, увидев меня. Немного испугалась даже.

– Ты что тут делаешь? – спросила мама.

– Я тут живу, – ответил я тихо и спокойно, или скорее отстранённо, медленно проговорив последнее слово по слогам.

– Понятно. Очень остроумно. Но я спрашиваю, почему ты не в школе?

– Потому что я туда не ходил, – ответил я в той же манере.

– Не ходил?! – возмутилась мать. В левой руке у неё был коричневый бумажный пакет, который она прижимала к груди, а в правой – бежевая холщовая сумка с нарисованной на ней огромной пчёлкой. Поставив всё на пол, мама подошла ближе ко мне и спросила: – Как это не ходил?

– Мне стало плохо, – соврал я и удивился тому, насколько легко мне это далось.

– Что с тобой такое?

- У меня разболелась голова, – продолжал сочинять я, но мама прервала меня:
- Нет-нет, я о другом... что с тобой вообще творится?

Я удивился, услышав этот вопрос, и посмотрел на неё. Всё вернулось, всё было на месте. Не только телефон и часы. Я не ответил ей. Я не знал, что ответить. И лишь смотрел на неё, слегка нахмурившись.

Мама села рядом со мной и сказала:

– Понимаю... в последнее время я была сама не своя. И это длилось так долго... – она старательно подбирала слова. Я заметил, что ей по-прежнему тяжело откровенно говорить со мной о чём-то подобном. Вернее, я вижу это сейчас, когда вспоминаю об этом, когда вижу в памяти те мгновения. – Но я никогда не забывала о тебе, думала о тебе каждую ночь. Да-да, знаю, ты наверняка скажешь, что не чувствовал этого. Тебе наоборот казалось, что я тебя бросила, забыла о тебе. Только это не так, клянусь! А сейчас я вообще готова полностью отдаться заботе о тебе. Ведь ты мой сын! Мне было трудно пережить смерть твоего отца. Он был всем для меня. И вынести боль от его утраты было очень сложно, – на глазах её выступили слёзы, говорить ей стало ещё тяжелее.

– Да ладно, мам, – сказал я, вставая с дивана, – я ведь уже не маленький. Не надо со мной возиться...

– Нет-нет, – она встала вслед за мной, – я хочу... я должна. Что со мной будет, если я и тебя потеряю? Я этого не вынесу!..

Мама принялась горько плакать, всхлипывать и завывать. А я, как мог, её успокаивал.

– Не потеряешь, мам, – пообещал я и обнял её. – Всё будет хорошо, – повторял я снова и снова и гладил её по спине. Это помогало.

– Нам надо больше времени проводить вместе, – сказала она. Голос её звучал теперь чуть более спокойно и ровно.

– Да, конечно, мам, – отвечал я.

– У нас тут в кинотеатре фильмы Годара показывают. Я видела афишу, когда домой ехала. Может, сходим вместе?

– Хорошо, мам.

– Или куда-то, куда бы тебе хотелось. Что скажешь?

– Да, было бы здорово.

На следующий день она об этом уже забыла. И так и не вспомнила. Ни слова не сказала о Годаре. Даже когда я, желая, намекнуть ей, как бы ненароком оставил на журнальном столике рекламные буклеты, которые раздавала рыжая девушка с короткими волосами, в лёгком платье выше колен, совсем неподходящим для типичной погоды Ребеллиона... Но зато оно, конечно, прекрасно подходило для промо-акции. Ведь, если мимо буклета с Годаром можно спокойно пройти, то мимо девушки с красивыми ножками пройти уж точно никак нельзя. И я, складывалось впечатление, был чуть ли не единственным, кто позарился на буклеты, а не на оголённые женские ноги.

Сами буклеты были красно-чёрного цвета, с чёрно-белым портретом самого Годара и тремя надписями. Сперва название, затем место, потом дата и время: «Жан-Люк Годар: лучшее. Кинотеатр «Дравузе»²⁹⁸, понедельник, среда, пятница, с 11:00 до 16:00». Больше походило на пропагандистскую листовку ультраправой партии.

Буклеты эти оставались нетронутыми на журнальном столике целых четыре дня. А потом неожиданно пропали. Фильм Годара я впервые посмотрел гораздо позже в Доме Кальви.

С того дня как состоялся наш с мамой разговор, подобное поведение стало для неё в порядке вещей: я случайно попадал в поле её зрения, или правильней будет сказать, внима-

²⁹⁸ О котором мне ничего неизвестно и в котором я так ни разу и не побывал.

ния²⁹⁹, она сокрушалась о том, что она совсем меня забросила и забыла обо мне (за это мама всякий раз просила прощения), что мы мало времени проводим вместе и неплохо было бы нам куда-нибудь сходить. Вся жизнь её состояла отныне из перемещения от одной точки к другой, от одного состояния к другому. Она, как ни прискорбно, превратилась в выключатель, у которого только две позиции: включить/выключить. И ничего более. Первая точка, первое состояние: жизнерадостная, улыбчивая, энергичная мама целыми днями пропадает в своей мастерской, пишет картины, которые никому не показывает (я их увижу только после её смерти), уезжает куда-то на несколько часов и возвращается с пакетами, наполненными ненужными нам безделушками (за редким исключением, когда она покупала действительно что-то нужное в такие свои спонтанные, внеплановые вылазки). Вторая точка, второе состояние: угрюмая, подавленная, нервная, опечаленная, готовая в любую секунду и по любому поводу разрыдаться мама, бесцельно бродит по дому, либо смотрит телевизор, либо читает и ищет разговоров со мной. И от той точки до другой она могла переходить по несколько раз на дню, а могла и только лишь единожды за несколько месяцев, за полгода, год... Я ничего ей не говорил. Не спрашивал о пропавших буклетах, не упрекал в забывчивости и безразличии ко мне, не пытался вывести причин подобного поведения. Хотя, последнее, как раз, может, и стоило сделать. Но на тот момент я не только был увлечён совершенно иными вещами, полностью в них погружён, не только не был готов обсуждать с ней такие вопросы, я попросту принял это.

«Таков нынче наш новый миропорядок», – невольно сказал я себе. Наверняка несколько иными словами я выразился³⁰⁰... однако смысл тот же.

Примерно в четыре часа (так мне помнится) я, закончив разговор с матерью³⁰¹, выдержав все муки ожидания, сжимая в руках салфетку с заветными цифрами из случайной, шумной, тёмной кафешки на углу, неподалёку от музыкального магазина и вокзала, я набрал номер. И стал ждать. Опять. В жизни за длительным ожиданием очень часто следует ожидание короткое. Оно-то обычно и сводит с ума. Но я держался как мог. Один гудок – сердце забилося быстрее. Второй гудок – участилось дыхание. Третий гудок – лоб покрылся испариной. Четвёртый гудок – во рту пересохло. Щелчок – все мысли разлетелись. Наступила тьма и тишина.

– Да, я вас слушаю, – раздался женской голос. Довольно низкий, колющий. Голос женщины, которой всё опротивело в этом мире.

– Здравствуйте! – сказал я. – Могу я поговорить с Ванессой?

– Поговорить с Ванессой, – медленно повторила она и тяжело вздохнула. Последовала длинная пауза и какое-то шуршание. Затем женщина сказала: – Боюсь, у нас здесь никого нет с таким именем.

Теперь была моя очередь брать паузу. Ибо я опешил и не находил что ответить.

– Простите, – произнёс я наконец, – «у вас здесь» – это где?..

– А куда вы, по-вашему, звоните?

– Ну... э-э-м... я думал...

– Молодой человек! – строго сказала женщина. – Это морг. Хотите с мёртвыми поговорить, вам дорога в...

Мне стало так стыдно и неловко, что я не дослушал её и сразу повесил трубку.

На следующий день я снова пошёл в «Salaro», но Ванессы там не оказалось. За кассой сидел парень лет двадцати. Бледный, прыщавый, тощий, с большими ушами, длинными волосами, проколотой бровью и острым подбородком, на котором росла жиденькая борода.

²⁹⁹ Потому что она могла внезапно вырваться неизвестно откуда, вспомнив обо мне, и начав всё тот же разговор о том, что нам надо больше времени проводить вместе; и в то же время она порой могла совершенно не замечать меня, когда я находился прямо перед ней.

³⁰⁰ А может быть и теми же самыми.

³⁰¹ Которая после этого исчезла в своей мастерской, оставив пакеты, что с собой принесла, там, где их бросила. Позже я сам разобрал их.

Я спросил его, знает ли он что-нибудь о девушке в длинном чёрном платье, что часто ходит сюда.

– Не, чувак, извини, – ответил он. – Ничего не знаю.

Я двинулся к выходу. Вслед парень спросил меня:

– А в чём дело?

– Да не в чём... – печально произнёс я и толкнул дверь.

– Может передать ей что хочешь?

– Передать? – я обернулся к нему с недоумением.

– Ну да. Сообщение какое-нибудь... Типа того. Она ж всё равно придёт. Вот и как бы это самое...

– А так можно?

– Ну а чего бы и нет?.. Мне ж несложно. Возьму да передам. Держи. Листок, ручка. Пиши.

Я стоял и смотрел на белый лист. Кассир тем временем занимался своими делами.

«Что же мне ей написать?» – думал я. Мучительные размышления эти привели меня к трём принципам, которыми я должен руководствоваться: письмо, во-первых, должно быть кратким, во-вторых, не слишком откровенным и, в-третьих, не слишком странным и/или раздражающим. Исходя из этого, я составил примерно такое послание:

«Привет! Вчера позвонил по номеру, что ты оставила на моей футболке. Надеюсь услышать твой голос, но мне сказали, никого с таким именем у них в царстве мрака и формалина нет. Поэтому я, пользуясь добротой нашего славного друга...», – тут я прервался и спросил у парня за кассой, как его зовут.

– Феликс, – ответил тот, и я продолжил: – *«...Феликса, хотел задать всего один вопрос: «Тебя в самом деле зовут Ванесса?». Потому что, если нет, хотелось бы знать настоящее имя, дабы никого смущать, когда буду звонить тебе в следующий раз; а если да, то никто, кроме меня, судя по всему, не знает о твоём существовании. Надо им срочно сообщить. Расскажи мне о себе побольше, и я это сделаю. Но позже. Сейчас мне пора бежать. Буду ждать твоего ответа. Напиши мне.*

Эрик Миллер (парень, лежавший на рельсах глубокой ночью)».

Я согнул листок два раза пополам и протянул Феликсу. Он с улыбкой сунул его в задний карман чёрных джинсовых шорт.

– Не забудешь передать? – спросил я.

– Не забуду, – ответил он.

Глава 21

Поразительно и любопытно! Чем глубже я погружаюсь в свои воспоминания, чем дольше пребываю в их потоке, тем сильнее чувствую себя лишь призраком, которому ничего не осталось, кроме как тоскливо бродить по катакомбам своей памяти, с горечью рассматривать следы жизни, былой юности, всего утраченного. Никогда я не был столь близок к собственной смерти³⁰², как сейчас, ничто меня к ней не приближало – ни сигареты, ни алкоголь, ни наркотики... Я так боялся своих воспоминаний... а оказалось это как раз то, что мне нужно. И времени-то прошло всего ничего! Я совсем не замечал его хода, ибо оказался необычайно сильно увлечён пространными, витиеватыми, нескончаемыми размышлениями, которыми особенно славился, будучи членом дома Кальви, и тем, сколь целостным оказалось моё прошлое, погребённое навеки в моей памяти. Я будто археолог, что нашёл под землёй на раскопках древний-древний город, сохранившийся едва ли не в первозданном виде.

Когда я пришёл на кладбище, было ещё утро. Позднее, но утро. А сейчас всего три часа. Посижу здесь, наверное, до вечера. Хотя, может и до ночи останусь. Всё лучше, чем проводить очередной день в том проклятом доме. В любом случае, я потом не вылезу оттуда ещё долго. Поэтому сейчас торопиться некуда. К тому же, к обстановке я полностью привык. Здесь по-своему уютно, очаровательно. И мне совсем не холодно. Переночевать тут, что ли? Устроиться прямо рядом с Ванессой... Нет, дурацкая затея. Летом вполне ещё ничего, но не теперь, когда осень разнесла повсюду трупный запах бытия – эту насмешку над всеми человеческими устремлениями, что пронизаны высокомерием и чувством собственного превосходства. И жухлые, утратившие жизненную силу листья тонут, гниют в грязи, земля становится промозглой и влажной от дождей, а воздух студёным. Деревья сплошь оголяются, обретая временами злое щий, а времени и бесконечно прекрасный облик – но облик всегда уникальный. Это то время, когда они перестают быть похожими друг на друга, в каждом дереве начинаешь видеть что-то своё, как и в людях. Лучшая пора в году! Но только не для того, чтобы ночевать на кладбище.

Когда я написал Ванессе своё первое послание, на дворе стояла, кажется, ранняя весна, которая в Ребеллионе всё равно походит на осень. В Ребеллионе времена года отличаются разве что степенью схожести с осенью. Зимой отличить легко, ибо идёт снег. Весну, особенно раннюю, отличить сложнее всего, ибо листья на деревьях ещё не выросли, даже почки не начали распускаться; часто идут дожди, повсюду лужи; дует холодный ветер; и небо *почти* такое же серое. Лето бывает разным: порой наступают жаркие дни (недели, месяцы), которые все (кроме приезжих) переносят очень и очень тяжело; но случается и так, что идут дожди, а холод клыками пронзает кожу, вгрызается в плоть, разрывает её и разбрасывает всюду. В подобные дни чувствуешь себя несчастной жертвой несправедливой, неоправданной жестокости этого мира. И особенно остро чувствуешь именно летом, когда такая погода обрушивается на тебя совершенно неожиданно, возникая из ниоткуда, вернее, из своей противоположности, что и делает её столь смертоносной, подавляющей всякую волю к жизни.

Но тот день был совсем иным. Зелёные листья – верный и самый точный признак лета – на деревьях не виднелись (ведь лето ещё и не наступило). Дул ветер. Слабый. Не слишком холодный, не слишком тёплый. Небо облачилось в серо-голубые одежды, что вызывало в душе лёгкую, приятную меланхолию.

Я вышел из магазина, оставив послание загадочной девушке в длинном чёрном платье с зелёными глазами, что занимала все мои мысли и обладала, судя по всему, специфичным чувством юмора, с которым я столкнулся впервые и которое меня забавляло, поскольку содержало в себе игривое, лишённое злобы отрицание ценности человеческого существа и всего им

³⁰² Именно собственной – это важно.

созданного, а значит и трагедии удела людского. Ибо трагедия такая всегда вытекает из огромнейшей ценности перечисленного и полного осознания этой ценности, или же не осознания, но наделения их такой ценностью.

Вместе с тем, однако, такая моя интерпретация оказалась если не всецело ошибочной, то во всяком случае, не слишком точной и верной. Так произошло во многом потому, конечно, что она возникла пусть не сразу, не мгновенно, не после звонка в морг, а чуть позже, когда мы стали сближаться... И всё равно поспешно.

Сама Ванесса сказала мне однажды, что ей просто показалось забавным дать вместо своего номер местного морга, где проходила практику её подруга, которая училась на медицинском факультете.

– Разве можно вот так внезапно, свалившись, как снег на голову, спрашивать у девушки её номер? – поражалась Ванесса в ту ночь, когда мы впервые поцеловались и шли, взявшись за руки, по широкой улице Ренаты Балморей³⁰³. Вокруг сияли огни, высились дома и шумной рекой плыли толпы молодёжи. Они были такими же, как мы, и в то же время совсем другими. Это нагоняло на меня тоску³⁰⁴. Ванесса это заметила и пыталась меня развеселить. Или по крайней мере отвлечь от мрачных мыслей лёгкой, приятной беседой.

– А разве нельзя? – отвечал я Ванессе вопросом на её риторический вопрос.

– Конечно, нет! Тем более, если вы толком не знакомы и виделись всего пару раз.

– Хм... – задумался я.

– Ты в самом деле думал, что я сразу же дам тебе свой настоящий номер? – весело смеясь, спросила она.

– Ну да, – ответил я. – Мне и в голову не приходило, что стоит сомневаться в твоей искренности.

– О-о-о, кто-то, кажется, сердится... – Ванесса, не отпуская моей руки, перегородила мне путь. Я остановился. Мы смотрели друг другу в глаза. Она улыбалась. Я был хмур. – Это не вопрос искренности, – объясняла Ванесса и стала понемногу пятиться и тянуть меня за собой. – Всё дело в том, что надо быть осторожной... К тому же, трудно сдержаться от того, чтобы не учудить чего-нибудь...

– Любишь чудить, значит?

– Ну так... время от времени, – она поцеловала меня в щёку и вновь пошла рядом. – Хорошая и – что немаловажно – своевременная шутка дарит абсолютную, истинную свободу. Пусть и на одно короткое мгновение.

– Свободу?

– Ага.

– Это как?

– А вот к такому вопросу я не была готова, – посмеялась она. – Дай мне подумать секунду.

– Думай, конечно.

И она думала. Вид у Ванессы сделался действительно задумчивый, глубокомысленный. Мы шли вперёд, она, чуть склонив голову, смотрела вниз в одну точку. Брови её были нахмурены, глаза слегка сощурены.

– Лучше всего, наверное, объяснить на примере... – сказала она.

– Хорошо, давай.

³⁰³ Рената Балморей (1876 – 1931) – член кружка весантовцев, участница нескольких забастовок, акций протестов и восстаний (включая сентябрьское восстание, которое привело в конечном счёте к развалу гортусской империи), одна из основательниц Ребеллиона.

³⁰⁴ Ибо тоска – она повсюду.

– Предположим, тебя сковывает какая-нибудь трагедия. Утрата близкого человека или нечто подобное, – тут моё сердце сжалось³⁰⁵, но я молчал и не подавал виду. – Именно “сковывает”. Ты настолько поглощен этой трагедией, что она начинает определять твою жизнь, твою судьбу, если угодно. Так происходит потому, что ты утратил нечто действительно значимое, ценное, важное для тебя и попросту не смог двигаться дальше. Да, ты вроде бы живёшь дальше, дни неумолимо сменяют друг друга, жизнь идёт своим чередом. Но ты понимаешь, пусть далеко не сразу, что в конечном итоге всё равно наступает момент, когда из самых-самых тёмных глубин души³⁰⁶ начинает тихонько звучать голос, который говорит, – тут Ванесса остановилась – остановился и я – повернулась ко мне и прошептала на ухо: – «Мы заблудились. Пора выбираться», – Ванесса пошла дальше, я следовал за ней. – И тогда тебе открыты лишь три пути, – продолжала она, – ты либо позволяешь скорби поглотить тебя целиком и уходишь из жизни, либо слетаешь с катушек и теряешь себя, либо сбрасываешь эти оковы. А сбросить их можно одним-единственным способом: признать, или убедить себя, что тот человек и узы, связывающие вас, более не являются ценными, важными, значимыми. И конечно, больно думать о таком, не то чтобы вслух сказать об этом. Подобное кажется кошунственным. Тут на помощь как раз и приходит юмор. Ведь отрицание ценности может быть деструктивным. Разрушая, оскверняя память – ты тоже отрицаешь ценность. Но это не то, что я имею в виду, не то, чего я стремлюсь достичь. Я говорю, соответственно, о конструктивном отрицании ценности. Когда ты осознаешь, что можешь посмеяться над своим горем, сказав себе нечто вроде: «Смерть – она повсюду, так было, есть и будет с каждым; и если нам ещё осталось несколько мгновений среди бесконечно прекрасного и ужасного торжества величия порочного союза человеческого гения, творений Природы и неосторожности Вселенной, чуждого всем нам, детям бесконечной тьмы, проведём же их в полной мере живыми, свободными, с широко раскрытыми глазами, улыбкой на лице и осознанием того, что *there is a light that never goes out*», вот только тогда ты обретаешь истинную свободу – свободу жить и умирать, свободу быть собой.

– А когда ты даёшь мне номер морга вместо своего... как это соотнобразуется с идеей обретения свободы?

– Свобода есть отрицание того, что значимо для общества. Иногда оно значимо только потому, что привычно. И если ты становишься рабом даже не своих, а чужих привычек, то ты, естественно, не свободен. Отрицание позволяет взглянуть на вещи под другим углом и ведёт тебя к свободе.

– Да, вот только в пределах трагедии, утраты... где тут связь?

– Ну, нет, пожалуй, прямой связи между освобождением от горечи утраты и тем, что я дала тебе не свой номер. Но в некоторой степени это тоже стремление обрести свободу – свободу от типичного нарратива. А то обычно во всех подобных историях парень встречает девушку, они чуть ли не мгновенно сближаются, она даёт ему свой номер, он звонит, они разговаривают и тут же обретают вечную любовь. Это жутко романтично, конечно. Особенно на экране или на страницах книги. Но мне хотелось сломить такой нарратив.

– А разве ты не становишься, наоборот, ещё более зависимой от нарратива, если принимаешь решения, выстраиваешь свои действия на его основе, как бы отталкиваясь от него.

– Хм... а в этом что-то есть... и правда. Возможно, ты прав. Но мне в любом случае нравится то, как у нас всё сложилось. Я бы ничего не меняла, будь у меня такой шанс.

– И я тоже! Но к слову... о том, что можно и чего нельзя делать... Я просто думал, что сразу понравился тебе. Такое чувство было, будто между нами возникло нечто особенное в тот же миг, как только мы встретились и обменялись парой фраз друг с другом. Да и потом ты ведь сама об этом говорила. И раз возникло, то...

³⁰⁵ Что интересно – оно сжалось и сейчас, при воспоминании об этом эпизоде.

³⁰⁶ Души?

– Это так, не спору. Только разве могу я доверять себе в столь щекотливом (да и любом другом, но особенно в этом) вопросе? Разве не может случиться так, что мне понравился какой-нибудь психопат или маньяк-убийца? Я должна себя беречь.

– Справедливо, пожалуй.

– Спасибо, мистер ворчун. И да, к слову... Если ты нравишься девушке и знаешь об этом наверняка, или почти наверняка, то уж точно нельзя пользоваться этим в своих интересах и думать, будто тебе всё позволено.

– Как много правил и условностей!

– Меня от этого тоже воротит. Потому я и наплевала на них. Всё ради тебя.

Ванесса прильнула ко мне. Мы остановились, и мир вокруг, само время, казалось бы, – тоже. Я обнял её. И почувствовал себя самым счастливым человеком на свете. Счастливым, но в то же время по-прежнему порабождённым своим горем.

Как же далеко я ушёл от этого прекрасного мгновения! И от всех мгновений что даровали счастье. И почему же нельзя отыскать тропу обратно?

От магазина (в день первого послания к Ванессе) я, надев наушники, двинулся в сторону дома, где жила Тори. В ушах у меня звучали песни самых разных групп. Не только The Cure, The Smiths и Siouxsie and the Banshees³⁰⁷, но ещё и Joy Division, Radiohead, The Doors, Slowdive, The Chameleons, A-ha, The Cars, Dead or Alive, Tears For Fears, Orchestral Maneuvers In The Dark, The Kinks, The Beatles, Nirvana, Savage Garden. Я был целиком и полностью погружён в музыку, от чего окружающий мир несколько поблек, сделался призрачным. Я утратил с ним связь³⁰⁸; и в какой-то момент обнаружил себя в незнакомом месте. Таковым оно показалось изначально, ибо я не знал, куда мне дальше идти. Я стоял посреди множества дорог и троп, посреди насмешливых (как всегда) домов, под небом, к которому всегда обращаешься, когда ищешь ответов и которое всякий раз словно бы пожимает плечами. Дескать, да не знаю я. Давай сам как-нибудь.

Побродив немного по округе, я понял, что здесь для меня практически не осталось совершенно незнакомых мест. Хоть раз, но я бывал всюду. Что-то чужеродное, однако, ощущалось во всём этом. Или я сам был чужеродным элементом, который из всех сил мир стремился отторгнуть. И поэтому я терялся в знакомых местах.

**It's my direction
It's my proposal
It's so hard
It's leading me astray
My obsession
It's my creation
You'll understand
It's not important now
All I need is
Co-ordination
I can't imagine
My destination
My intention**

³⁰⁷ Моя святая троица.

³⁰⁸ Если она вообще у меня была когда-либо.

**Ask my opinion
But no excuse
My feelings still remain**

К дому Тори я подошёл со стороны заднего двора, боясь, что дедушка наверняка, как обычно, стоит на лужайке напротив своего дома и с кем-то беседует, или же просто с гордостью и чувством глубокого удовлетворения осматривает любимый район, докуда хватает глаз. И я не хотел, чтобы глаз хватило ещё и на меня. Так что шёл я осторожно, держась как можно дальше от улицы, где находился дедушкин дом. Иногда я даже шёл на цыпочках, как в одну из ночей, когда выходил из дома. Весь район будто превратился для меня в его дом, и, если я буду слишком шуметь, он проснётся, увидит меня, найдёт и накажет. Но потом я, конечно, говорил себе: «Какого хрена ты творишь?» и шёл нормально. А затем снова ловил себя на мысли, что стараюсь идти осторожно, аккуратно и тихо.

– Какого хрена ты творишь? – вдруг услышал я где-то позади голос и вздрогнул. «Кто это?!» – подумал я, обернулся и увидел перед собой Вальтера в окружении неизменной свиты. Хотя, может, новые лица там и появлялись, либо, по крайней мере, исчезали старые. Но мне и тогда-то было трудно запомнить каждого... а уж сейчас – тем более; ведь все они в моих глазах смешивались в единую массу, единый организм, превращались в гидру, у которой пусть и много голов, однако, они лишь части целого, все вместе они – гидра. И только. Нет никого по отдельности (кроме самого Вальтера). Так я их воспринимал. А они наверняка думали, что я зазнавшийся, высокомерный ублюдок, вновь явившийся на их землю откуда-то издалека с целью всё сломать, разрушить. Я – чужеродный элемент. Который нужно непременно отторгнуть.

И этот чужеродный элемент стоял перед ними, молча смотрел им в глаза. И во взгляде его внезапно не было ни страха, ни злости, ни робости, ни покорности, ни растерянности. Даже они это поняли. Во взгляде его было только спокойствие, пронизанное осознанием, пониманием ничтожности всего когда-либо происходящего между ними, полного отсутствия значимости их слов и поступков, которое им казалось признаком какой-то странной болезни, душевного расстройства (хотя последние два слова им были неведомы). Это приводило их в смущение и замешательство (которые они выражали толчками и без конца повторяющимися вопросами «Чо ты?!», «Ну, чо ты, а?!», ответить на которые было достаточно сложно), ибо чувства за пределами чистой, острой злобы и беспробудного смеха, вызванного примитивными, сальными шуточками, направленными на всех, кто едва попадётся им на глаза, были им непривычны, и от того пугали их. Страх тоже был непривычен этим не слишком зрелым молодым людям, что вопреки своей воле оказались вынуждены испытывать слишком разнообразную палитру чувств и эмоций (из-за меня). И им подобное явно не понравилось. Потому они просто как следует поколотили меня да оставили валяться в грязи.

На шум из дома выскочила Тори.

– Господи ты боже мой! – с сочувствием произнесла она, увидев меня.

– Давненько не виделись, да? – сказал я и широко улыбнулся. Тори присела рядом со мной на корточки и смотрела вслед удаляющейся гидре. Близились сумерки.

– Как же здорово снова сюда вернуться, – отметил я и расхохотался.

Тори сперва хмуро глядела на меня, а потом стала смеяться вместе со мной.

– Ну всё, понятно, – сказала она. – На этот раз тебя отмудохали конкретно. Пойдём. Вставай давай.

Тори помогла мне подняться, потащила к себе и по пути сказала:

– Христосьи папиросы! Первый раз в жизни слышу, как ты смеёшься! Заварить чаю, что ли, покрепче?

И она заварила. Пока я в ванной приводился себя в порядок. Губа у меня была разбита, волосы взъерошены, повсюду ссадины и кровь. Я умылся, пригладил волосы, вернулся в гостиную сел на диван. Тори стояла у плиты. Чай был готов. Она сказала:

– Так, у меня тут не чайная лавка Рамоны... но кое-что есть. Вот, держи.

Я взял чашку из её рук и сделал глоток.

– М-м-м, вкусно, – сказал я. – Это что? Эрл грей?

– Он самый.

– Вкуснотища! – я отпил из чашки и, держа её обеими руками, откинулся на спинку дивана и прикрыл глаза, – А что за «чайная лавка Рамоны»? – спросил я.

– Потом расскажу, – ответила Тори, загремела ложками и принялась тихонько напевать песню про Рамону. Сперва просто тянула снова и снова: «Рамо-о-она, Рамо-о-она!», а потом: «Рамона, сон волшебный снился мне, что мы идём вдвоём по сказочной стране».

– Какая хорошая песня, – пробурчал я с закрытыми глазами. – И чай очень вкусный.

– Угу, – только и услышал я в ответ. А потом снова: – Рамо-о-она! О мой бо-ог!».

Я рассказал Тори о затее Эрнеста и Роберта под началом Соломона Кальви-младшего, пригласил её составить мне компанию. Она с интересом выслушала и довольно быстро и легко согласилась.

Когда чашка с чаем опустела, я засобиравшись было идти к Марселю, а потом к Герману, однако Тори меня остановила.

– Тебе лучше сейчас полежать пару часиков хотя бы. А лучше все четыре.

– Да, но я хотел их тоже позвать...

– Я сама их позову, не напрягайся.

– Точно?

– Конечно! Обещаю.

– А они придут? – спросил я, чувствуя, как накатывает усталость. Мне захотелось спать.

– Придут-придут, – заверила Тори.

Я стремительно всё глубже проваливался в сон. В следующее мгновение я должен был уже полностью в него погрузиться. Однако вместо этого получил хлёсткую пощёчину.

Я открыл глаза, вскочил с дивана и зафыркал словно пёс. Сон как рукой сняло³⁰⁹.

– Спать нельзя, – сказала она.

– Ладно-ладно! – ответил я, потирая щёку. – Блин! Я думал, что достаточно натерпелся сегодня...

– Прости!

– Прощаю, так и быть. Но чтобы больше не...

– Хорошо-хорошо.

– Чем займёшься-то? У меня всё пошло не по плану. Не знаю, что теперь делать.

– Ну, отца, как обычно, до завтра точно не будет. Так что я позвоню сейчас Герману, потом схожу к Марселю. Вместе посидим, поболтаем. Расскажешь им про этого Соломона. А пока можешь телевизор посмотреть, музыку послушать. Что угодно делай, главное, не спи.

Сказав это, Тори отправилась к себе в комнату. Я же тем временем пытался найти пульт от телевизора, что оказалось не самой простой задачей. Пришлось обследовать и изучить едва ли не каждый уголок тесного жилища семьи Лавлинских.

Много всего я увидел в тот день. Но странно – я из этого мало что помню. Уж не знаю, в чём тут дело. То ли встреча с Вальтером и его друзьями всему виной, тот необычайно тёплый

³⁰⁹ Ха-ха!

приём, который они мне оказали; то ли одна находка вытеснила собою все прочие. Находка, поглотившая всё моё внимание, вызвавшая в душе³¹⁰ сильнейший трепет.

За креслом, рядом с маленьким шкафом, в котором хранились пластинки, в самом углу – вот, где я её увидел. Это была акустическая гитара. Шестиструнный «Фендер». Я протянул руку и осторожно коснулся струн. Раздался звук. И я почувствовал – предельно отчётливо – связь между предельно загадочным миром, живущем во мне, и музыкой: я касался гитарных струн, но в то же время касался своей души³¹¹, той её части, о существовании которой даже не догадывался. Струны издавали звук, а внутри меня словно распускались цветочные бутоны.

Тори вышла из комнаты.

– Герман скоро будет здесь, – бросила она на ходу и вышла из дома, не обратив толком внимания на то, что я делал в тот момент³¹².

Пульт же лежал на кресле.

«Ах вот ты куда подевался!» – воскликнул я про себя, схватил его, сел в кресло и включил телевизор.

Передавали местные новости. Мне было не особо интересно, и я собирался переключить канал. Но тут вдруг в кадре возник дедушка. Я так и обомлел.

– Изначально мною двигало лишь желание сделать лучше тот район, в котором я живу, – рассказывал он журналистке. Я сразу понял, что речь свою дед заготовил заранее и выучил её наизусть, поскольку в обычной жизни говорил он совсем иначе. Не так вычурно, не так гладко, не так быстро, не так доброжелательно. – Теперь же, – продолжал дедушка, – когда наш проект возымел такой успех, когда мы достигли всех намеченных целей, я чувствую готовность к взятию новых высот. И думаю, настала пора для дел более масштабных, значительных.

– Чем конкретно вы намерены заняться? – задала вопрос журналистка с микрофоном в руках. Она была совсем юной. Маленькая, низенькая, хрупкая шатенка с большой грудью и ярким макияжем.

– В данный момент мы занимаемся процедурой по регистрации собственной политической партии. У нас уже есть своя программа, с которой уважаемые избиратели в скором времени смогут ознакомиться, есть свой штаб, который можно посетить. В следующем году мы будем избираться в парламент.

Тори вернулась в компании Марселя. Я выключил телевизор, встал с кресла и на время забыл о том, что сказал дедушка; хоть меня это и несколько встревожило.

Марсель тоже выглядел встревоженным, напуганным, чем-то глубоко озадаченным. Его взъерошенные волосы казались изображением, внешним воплощением напряжённых нервов, как слёзы являются тем же для душевных³¹³ терзаний; его выпученные глаза жадно пожирали всё вокруг, стремясь ощутить вкус этого мира, вернувшись к нему тем самым, сбросив с себя пелену отчуждения; его большая голова на тонкой шее вращалась во все стороны, словно от ветра флюгер³¹⁴. И это был, надо полагать, сильный ветер, почти буря, что бушевала в его душе³¹⁵, гнала его к неведомым берегам; от того он и был напуган. И всё в нём клокотало, трепетало, что-то тёмное, мрачное, зловещее стремилось вырваться наружу³¹⁶.

Увидев его таким, я испытал облегчение. Не хочется признавать, что я испытал и радость, поскольку он явно был несчастлив, а также утомлён своим несчастьем, а раз он им утомлён, зна-

³¹⁰ В душе?

³¹¹ Своей души?

³¹² Хотя мне всё равно стало от этого немного неловко.

³¹³ Душевных?

³¹⁴ И мне вспомнился тот парень из нашего класса, которого мы прозвали «Флюгером». Марсель совсем не был на него похож.

³¹⁵ В его душе?

³¹⁶ И оно вырвется, но гораздо позже.

чит, оно длится уже довольно долго. Нехорошо радоваться чужому несчастью. Такая радость постыдна, и самого человека (в данном случае меня) ведёт к несчастью. Однако, если пытаться перед кем-то, неизвестно кем, оправдаться, то можно сказать, что я радовался не его несчастью, я радовался тому, что есть на свете тот, кто испытывает нечто подобное, что и я. А значит, я не одинок. И потому мне не так страшно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.